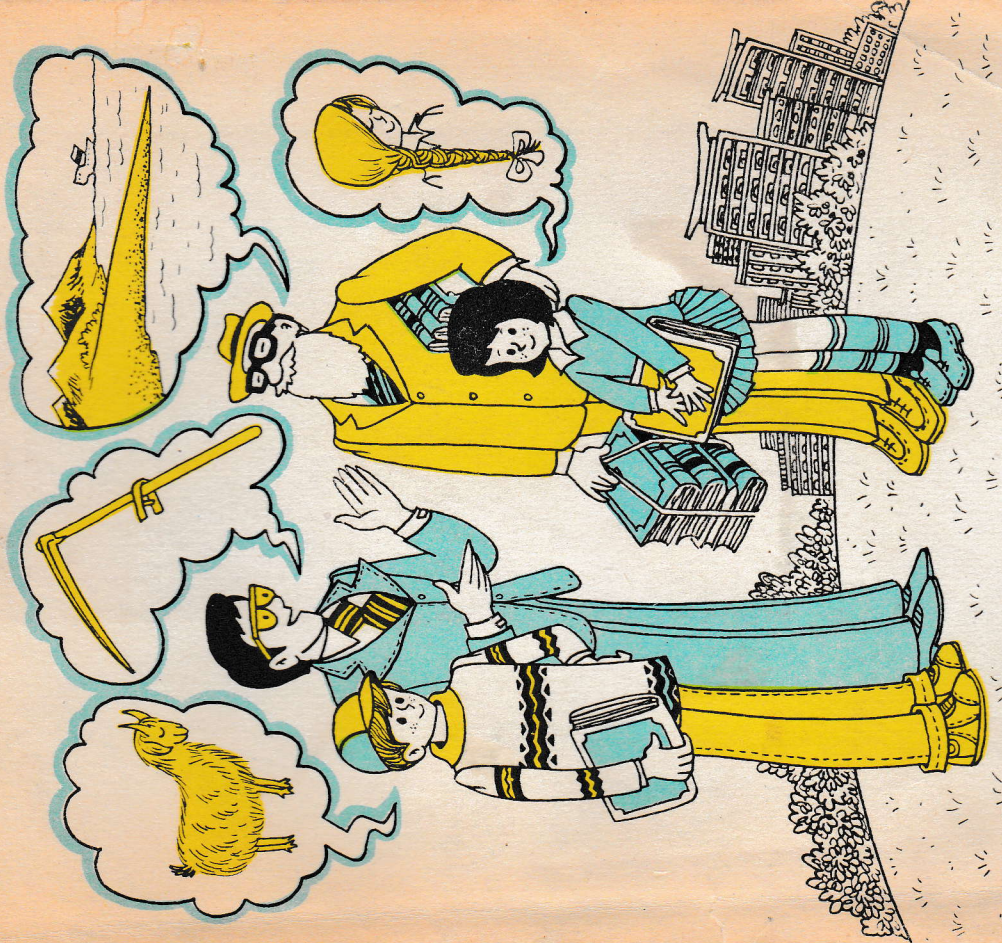


47.8.2P  
022



Л. В. САХАРНЫЙ

# КАК УСТРОЕН НАШ ЯЗЫК



48-81.2P

1702 ч. 10

022

Л. В. САХАРНЫЙ

# КАК УСТРОЕН НАШ ЯЗЫК

Книга для учащихся  
старших классов

123584

Москва «Просвещение» 1978

1702

## ЛИСТОН СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ

Книга повинна бути повернута  
не пізніше зазначеного тут строку.

Кількість попередніх видач \_\_\_\_\_

29.04.91-46  
576-2205

Києво-Святош. друк. 1970 р.



4Р

C22

Сахарный Л. В.

C22 Как устроен наш язык. Книга для учащихся ст. классов. М., «Просвещение», 1978, 160 с. с ил.

В книге занимательно рассказано о сложных теоретических проблемах общего языкознания. Попутно затрагиваются в новом для учащихся — теоретическом — освещении вопросы фонетики, лексики, грамматики и стилистики русского языка.

C 60601—387 259—78  
103(03)—78

4Р

© Издательство «Просвещение», 1978 г.

БИБЛИОТЕКА № 3  
ПОЛТАВА

Эта книга — не учебник по введению в языковедение<sup>1</sup>. В ней нет систематического изложения учебного материала: ни того, который «проходят» школьники, ни того, который изучают студенты-языковеды.

И все же эта книга — введение в современную науку о языке, в том смысле, что в ней сделана попытка приоткрыть дверь в творческую лабораторию ученых и ввести не искушенного в лингвистике читателя в круг проблем, которые волнуют современных языковедов.

Впрочем, только ли современных? Ведь вопросы о том, что такое наш язык, как он устроен, как связан с мыслью, почему на одном и том же языке одни говорят хорошо, а другие — плохо, — это «вечные» вопросы, которые волновали ученых и много столетий назад. И конечно, было бы нелепо утверждать, что на них совсем не было ответов. Однако, оставаясь «вечными», эти вопросы по-особому звучат сегодня, да и сама лингвистика, оставаясь одной из самых древних наук, сегодня оказывается глубоко кому и точноному выяснению закономерностей одного из самых удивительных созданий человека — нашего языка. Штурмывая тайны «устройства» языка, лингвистика стремится использовать все доступные ей идеи и методы современной науки — философии и математики, психологии и истории, логики и географии, физики и медицины. В этой книге делается попытка разветвь весьма распространенный миф о том, что в лингвистике «все уже открыто».

В самом деле, ведь физики все глубже проникают в тайны мироздания, открывая новые, неизвестные ранее

<sup>1</sup> Науку о языке называют языковедением, или языкознанием, или лингвистикой (от латинского *lingua* — «язык»).



частицы; химик создают тысячи новых соединений; астрономы обнаруживают новые звезды; геологи — новые месторождения нефти и металлов, археологи — памятники старины. В каждой науке — находки, открытия, новое, новое...

А что остается делать языковедам? Вот, к примеру, современный русский язык. Все мы свободно говорим на этом языке. Всем нам он хорошо известен. Какие уж тут исследования? Какие открытия? Ведь любой восьмиклассник знает, что в русском языке у существительных — три рода, два числа, шесть падежей. Что у глагола — три времени, два вида и три наклонения. Что предложения бывают личные, неопределенно-личные, безличные... Все очень просто! И все давно известно. Что же это за наука, в которой все просто и все известно?

А все ли? Ведь многое из того, что кажется нам абсолютно ясным, на самом деле ясно лишь потому, что мы пользуемся языком не задумываясь.

Свой фильм о природе, о людях, обо всем, что нас окружает, об умении удивляться народный артист СССР Сергей Образцов назвал «Удивительное — рядом». Как нельзя более точно эта характеристика подходит к языку.

Остановитесь, задумайтесь! Главное в науке — найти ответ на вопрос «почему». Язык, удивительнейшее создание человека, стоит того, чтобы мы о нем думали, были «почемучками» в языкознании!

Эта книга — не справочник по основным вопросам языковедения. Главная ее задача будет выполнена, если она поможет разбудить у вас лингвистическую мысль, если она поможет развитию вашей лингвистической наблюдательности, вашего «языкового чутья» и бережного отношения к языку.

И еще одно замечание. Не на все вопросы, даже поставленные в книге, вы найдете в ней ответ. А некоторые ответы лишь вызовут у вас новые вопросы. Что ж, такова и сама наука с ее постоянным поиском. Что-то она знает твердо, а о чем-то еще только догадывается, строит предположения. На что-то она уже может дать ответ, а о чем-то может лишь сформулировать вопрос. Да и найденный ответ часто лишь ставит перед учеными новые вопросы, оказываясь промежуточным рубежом, за которыми открываются новые дали. Этот процесс познания

закономерностей бесконечен для науки, и, повторяю, не только для физики, химии, астрономии, генетики, но и для лингвистики.

Наверное, не все, о чем говорится в книге, покажется вам привычным или даже бесспорным. Ну что ж, читать ее нужно внимательно, критически, не принимая все на веру, — это тоже необходимое условие вхождения в науку.

Вот несколько вопросов:

— Почему некоторые говорят: «пóльта», «в пальтё»?

— Почему *потолок* — мужского рода, *стена* — женского, а *окно* — среднего?

— Почему в предложении «Вот я сейчас, сию секунду, *положил* книгу на стол» действие — в прошедшем времени, в предложении «Вот я сейчас, сию секунду, *кладу* книгу на стол» действие — в настоящем времени, а в предложении «Вот я сейчас, сию секунду, *положу* книгу на стол» действие — в будущем времени? Что изменилось в содержании? Что такое время глагола?

— Почему в Архангельске, Перми, Орле говорят по-русски не так, как в Москве?

— Почему мы понимаем, что *стул* — это не *табуретка*?

— Почему...

Впрочем, наверное, пока довольно.

И еще один простой вопрос:

— Что такое язык?

Обычно отвечают:

— Орудие мышления и средство общения.

Но ведь это — определение языка по функциям. А как оно «выглядит», это орудие, это средство? Что оно собой представляет? Каково его «устройство»?

Вопрос тоже, оказывается, не так прост.

Для ответа на него строились разные теории — и правдоподобные, и на первый взгляд совершенно фантастические.

По-видимому, именно к последним следует отнести и одну из наиболее популярных сегодня теорий — теорию, определяющую язык как особого рода систему знаков (правда, некоторые ученые с этой теорией не согласны).

Как теория, опирающаяся на факты, она многое объясняет нам в устройстве языка — и в этом ее бесспорное значение для современной науки. Но в то же время многое в языке остается за пределами объяснений знаковой



## ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ

### Глава I

**Необычайная история, происшедшая с книгой Фердинанда де Соссюра, опубликованной после его смерти и к тому же написанной совсем не им, но тем не менее благодаря которой Соссюр произвел настоящую бурю в языковедении, не утихающую и по сей день**

(Первое теоретическое введение)

Первая книга, в которой детально разрабатывается теория языка как системы знаков, называется «Курс общей лингвистики». Автор ее — швейцарский ученый Фердинанд де Соссюр (1857—1913). Год издания — 1916-й.

Разумеется, и до Соссюра многие лингвисты говорили о том, что язык есть система знаков. И среди этих ученых одно из первых мест занимает замечательный русский лингвист Иван Александрович Бодуэн де Куртене (1845—1929), много лет работавший в Казанском и Петербургском университетах. Идеи нового подхода к изучению языка были подготовлены всей историей науки второй половины XIX — начала XX века и, как говорится, «носились в воздухе». Однако именно в сосюрловском «Курсе общей лингвистики» впервые знаковая теория детально разрабатывается, а на ее основе делаются необычные выводы.

Поэтому многие лингвисты не без основания считают, что с этой книги и начинается современное языкознание, что Соссюр — революционер в науке, который, подобно Копернику и Эйнштейну, сумел по-новому осветить, казалось бы, давно известные факты.

Редко какая книга вызывала в науке столько горячих споров, сколько книга Соссюра, причем не только сразу после выхода, но и сейчас, спустя более чем 60 лет.

Редко какая книга находила столько последователей, причем не просто отличавшихся друг от друга своими

теории, что вызывает и критику такого подхода к языку, и поиск других подходов.

При этом, что особенно существенно для современной науки, исследования языка с разных точек зрения не противоречат друг другу, а, скорее, взаимно дополняют друг друга, обогащая наше понимание языка, его сущности и развития. Для изучения такого сложного явления, как язык, разные подходы к нему просто необходимы.

Однако, прежде чем рассуждать о достоинствах и недостатках разных подходов к языку, не лучше ли прямо изложить их основные положения, тем более что эти положения порой элементарны и естественны, а порой необычны, даже парадоксальны? А главное, хотя многие из них уже давно закрепились в науке, они мало известны неспециалистам.

Итак, приглашаю вас стать путешественниками в мир современной науки о языке.



взглядами, но и приходивших к прямо противоположным выводам.

И пожалуй, никогда еще не было книги с такой удивительной судьбой еще и потому, что она была не только выпущена через три года после смерти автора, но и написана не Соссюром!

А дело все в том, что Соссюр в 1936—1912 годах трижды прочел в Женевском университете курс лекций по общей теории языка. После смерти Соссюра его ученики Шарль Балли и Альберт Сешэ «восстановили» текст курса по записям лекций и по черновикам самого Соссюра. Вполне естественно, что, как ни старались Балли и Сешэ, им далеко не везде удалось произвести точную реконструкцию текста. И не всегда ясно, говорят ли с нами в том или ином месте сам Соссюр, или говорят от его имени его ученики. Поэтому для нас важна прежде всего не «буква», но «дух» этой книги.

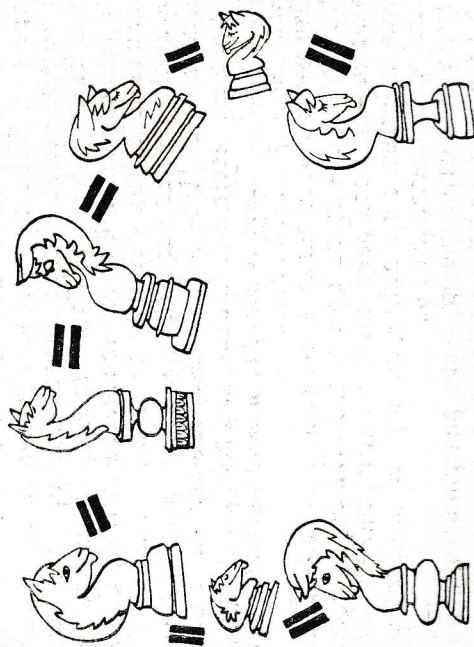
Что же означает понятие языка как системы знаков? На пути к ответу на этот вопрос Соссюр делает несколько важных разграничений, выделяющих то, что относится собственно к «языку», из того, что к языку не относится, хотя и связано с ним.

Первое разграничение — это разграничение внутренних и внешних элементов языка. Внутренние элементы языка относятся к самой его системе. Внешние — к условиям, в которых эта система проявляется, развивается.

Соссюр приводит эффективную аналогию с шахматами. Тот факт, что шахматы пришли в Европу из Персии, — внешнего порядка. Замена деревянных фигур на фигуры из слоновой кости — также внешняя и не сказывается на системе. Шахматные фигуры могут быть маленькими (карманными) и огромными (полуметровые фигуры на игровых площадках в парках, домах отдыха), иметь привычный вид или изображать слонов, всадников, пешеходов, быть объемными или плоскими (на демонстрационных досках) и т. п. Однако всегда и везде это одни и те же, хорошо знакомые нам шахматы.

Напротив, если уменьшить или увеличить количество фигур, изменить правила их передвижения или другие правила игры, то это изменит «грамматику» этой игры — ее систему, ее «устройство», потому что это элементы внутренние.

Так, много веков назад ферзь был очень слабой фигурой: он двигался лишь по диагонали на одно поле. Но в таком случае наши современные шахматы — это не сколько иная игра, хотя и остальные фигуры, и доска остались теми же.



В результате разграничения внутреннего и внешнего в языке, разграничения, вполне естественного и полезного, Соссюр делает первый парадоксальный вывод: условия, в которых развивается тот или иной язык, чрезвычайно важны для понимания того, как складывался язык и как он функционирует, но для изучения собственно внутреннего устройства языка, для изучения, в которых он развивается, нет необходимости.

Второе разграничение — это разграничение языка и речи. Оно еще более важно в концепции Соссюра и в то же время вызывает, пожалуй, наибольшее число споров. В речевой деятельности людей, отмечает Соссюр, выделяется ее важнейшая часть — язык. Эта часть речевой деятельности и представляет собой систему знаков, которая принята в данном языковом коллективе и которой обязан подчиняться каждый из членов этого языкового коллектива в своей речи.



Речь, связанная с отдельными людьми, зависит от их физиологических и психологических особенностей и поэтому материальна, конкретна, мимолетна. Язык же, свободный от деятельности каждого из людей, связан лишь с обществом в целом. Следовательно, он свободен от физиологических и психологических особенностей конкретных людей и потому идеален, абстрактен, устойчив. Сосюр подчеркивает, что язык и речь появились в речевой деятельности людей одновременно, что одно без другого существовать не может. Ибо, для того чтобы речь была понятной, необходимо наличие языка, а чтобы сам язык существовал и осваивался людьми, необходима речь.

В результате такого разграничения (опять-таки вполне естественного и полезного) Соссюр делает второй парадоксальный вывод: хотя для изучения речевой деятельности чрезвычайно важно изучение не только языка, но и речи, только язык представляет собой собственно систему знаков. Поэтому для изучения языка собственно внутреннего устройства языка знать особенности речи нет необходимости.

Третье разграничение — это разграничение в языке статик и динамик (т. е. истории). Конечно, интересно и важно выяснить, откуда произошло то или иное слово, каково его первоначальное значение и т. д. Однако каждый такой факт, рассмотренный в историческом плане, ничего не дает для понимания его места в системе данного языка в данный период времени. В самом деле, изменится ли современная система правил игры в шахматы от того, что мы будем знать, как ходил ферзь раньше? Конечно же, нет, хотя это факт — важный для истории шахмат. То же и в языке, тем более что некоторые факты современного языка выглядят совсем иначе в историческом освещении. Вот только один пример. Русское слово *зонтик* мы не задумываясь связываем со словом *зонт*, ставя его в ряд аналогичных пар:

дом — дом-ик      стол — стол-ик  
сад — сад-ик      зонт — зонт-ик и т. д.

Что в этой паре «первично»? Конечно, *зонт*, скажете вы и будете совершенно правы с точки зрения устройства системы современного языка. Однако история языка дает нам совершенно другой ответ: слово *зонтик* — искаженная форма заимствования из голландского *zonnedeck*

(буквально — «крышка от солнца»). Когда это слово было освоено «на русский манер», -ик стало осознаваться как уменьшительный суффикс (по аналогии с *домик*, *садик*, *столтик* и т. п.), и уже в результате этого появилось «новое» слово *зонт*.

Итак, соотношение «первичности» — «вторичности» с точки зрения истории русского языка:

*Zonnedeck* → *зонтик* → *зонт*,

с точки зрения современного русского языка:

*зонт* → *зонтик*.

Какая же из этих схем верна?

Оказывается, обе. Но первая верна лишь с динамической (исторической) точки зрения и неверна с точки зрения статической, в данном случае — с точки зрения системы современного русского языка, а вторая, наоборот, верна со статической точки зрения (ибо в современном языке отношения именно такие), но неверна с точки зрения динамической.

В результате такого разграничения, тоже чрезвычайно естественного и полезного, Соссюр делает третий парадоксальный вывод: хотя исследование языка в его исторически чрезвычайно важно для выяснения того, как возникают и изменяются элементы языка, но для изучения собственно внутреннего устройства языка знать историю языка нет необходимости.

Суммируем соссюровские разграничения:

внутренние элементы	- - - - -	внешние элементы
язык	- - - - -	речь
статика	- - - - -	динамика (история)

Итак, для изучения собственно внутреннего устройства языка целесообразно отвлекаться от внешних элементов языка, от речи, от истории языка. Что же остается для рассмотрения? Язык как система внутренних элементов, взятая в статике. Это, собственно говоря, и есть язык как система знаков. Можно спорить (и не соглашаться!) с тем, должна ли лингвистика ограничиваться рассмотрением только так понимаемого языка — языка,



«очищенного» от истории, психологии, физиологии, наконец, «очищенного» от самого человека. Однако кажется бесспорным, что этот выделенный Соссюром «язык» должен стать предметом особого, самого пристального рассмотрения, предметом специального лингвистического анализа. Хотя в то же время лингвистический анализ не должен ограничиваться только этим «языком».

Иначе говоря, то, что сказал Соссюр о языке, — это правда, но в то же время далеко не вся правда о языке. Именно такая формула и лежит в основе нашей книги.

Что же представляет собой этот выделенный Соссюром язык как система знаков?

## Глава 2

### Светофор, макси-юбки, слово. Что у них общего?

(Начальное знакомство со знаком)

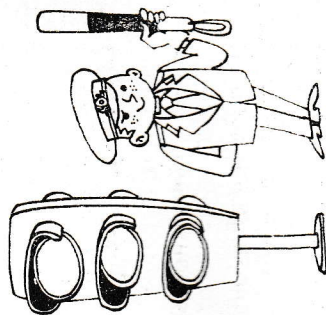
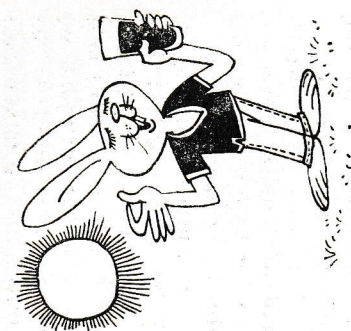
В определении языка как системы знаков — два понятия: «знак» и «система». Рассмотрим кратко каждое из них.

#### Что такое знак?

Самое общее определение знака может быть приблизительно таким: знак — это нечто, которое указывает своим присутствием на другое нечто и лишь потому существует как знак этого другого. Или иначе: если имеется нечто *A* и нечто *B*, причем *B* выступает как заместитель *A*, то тем самым *B* является знаком *A*. Приведем несколько примеров.

В лесу валяются ветки — березовые, сосновые, осинные. Длинные и короткие. Сухие и свежие. Вы с товарищами договорились о том, что первая группа пройдет по дороге вперед, выберет поляну и подготовит место для привала. А чтобы вторая группа не «проскочила» мимо, у поворота на обочине будет выложен знак-указатель.

Ветка становится знаком. И если до сих пор она могла заинтересовать нас сама по себе — по породе, размеру, «степени свежести», то теперь все это становится для нас



безразличным: ветка превратилась в «знак», и поэтому важна она не сама по себе, а лишь постольку, поскольку указывает поворот. Теперь ветка воспринимается нами только как некая форма, которая является носителем определенного содержания.

При этом, правда, ветка должна быть, с одной стороны, достаточно велика, чтобы ее можно было заметить, с другой стороны, — не очень громоздка. Иными словами, есть определенные характеристики самого знака; хотя мы не обращаем на них внимания, они совершенно необходимы, чтобы предмет мог служить знаком.

Второй пример. Вы идете по улице, вы хотите пить. И вдруг на витрине лукавая мордашка зайца, пьющего томатный сок. Что это? Художественное произведение, имеющее самостоятельную ценность? Да, конечно, чем эта картина сделана интереснее, остроумнее, тем скорее вы обратите на нее внимание и зайдете в магазин. Но эстетическая ценность этой картины — не самостоятельная, не главная задача ее, а подсобная. Главная же задача этой картины все та же — быть знаком.

Знаки окружают нас повсюду: «птичка» на полях вашей тетради, отмечающая



ошибку, и «птичка» на погонах летчика; красный свет светофора и красная повязка на рукаве дежурного... Да-же вопреки нынче в моду макси-юбки у девушек и «кудри черные до плеч» (à la Ленский?) у юношей — тоже знаки — знаки, выражающие отношение к моде, к мнению окружающих, к самому себе.

Говорим мы и о «знаках внимания». Подарок в день рождения совсем не обязательно должен быть дорогим («ие дорог подарок, а дорога честь»), потому что это прежде всего знак — знак внимания и уважения.

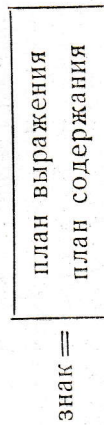
Во всех наших примерах знаки — это предметы, действия, поступки, которые интересуют нас прежде всего потому, что обозначают, напоминают, показывают, убеждают нас в чем-то, что с этими знаками связано. Они являются как бы представителями этого «чего-то».

Форма знака называется планом выражения (или означающим), а то, что связывается с этой формой, — планом содержания (или означаемым).

Вернемся к языку.

Слово *дом* — комплекс трех звуков (или букв). Этот комплекс вызывает у нас представление о каком-то строении с крышей, с окнами, дверями (все говорящие по-русски представляют дом приблизительно одинаково, с некоторыми вариациями в зависимости от обстановки, фантазии, уровня знаний, памяти и т. п.).

Звуки и буквы и их комплексы — это план выражения, означающее языкового знака. Содержание, смысл, который мы вкладываем в них, который связан с ними, — это план содержания, означаемое. Иными словами, языковой знак обладает той же структурой, что и любой другой знак, хотя, конечно, имеет много своих особенностей. Вот какая у него структура:



Важно иметь в виду, что только обе стороны языкового знака (как и любого знака вообще) дают ему право быть знаком. В самом деле, попробуйте передать идею «дома» без звуковой, буквенной или какой-нибудь другой (например, азбуки Морзе, условной цифровой) формы. Ничего не получится! А план выражения? Может

ли он существовать сам по себе? На первый взгляд кажется, что да. Какое-нибудь *трапала* вполне возможно. Но все дело в том, что это *трапала* не будет **знаком** до тех пор, пока с ним не связано какое-нибудь содержание, т. е. пока не получится опять-таки единства означающего и означаемого.

Разумеется, все богатство и сложность языка, как уже говорились, не сводятся только к знакам. Но знаковость — важнейшее свойство языка, определяющее многие особенности его устройства. И элементы языка обязательно оформляются в соответствии с требованиями особых законов знака. Эти законы изучает специальная наука о знаках — **семиотика**, или **семиотика**. Попутно отметим, что включение науки о языке в сферу действия семиотики — тоже весьма интересная и плодотворная идея Соссюра. И знаки языка, и знаки других систем в принципе имеют одинаковые закономерности. Однако, поскольку все эти знаковые системы значительно проще языка, все эти закономерности в них выступают гораздо рельефнее, нагляднее, чем в языке. Поэтому многие закономерности языка как системы знаков легче изучать на материале этих сравнительно простых знаковых систем, а уже потом находить и исследовать их в языке.

Впрочем, отметим здесь еще один парадокс концепции Соссюра. Соссюр «отсек» язык от речи, динамики и т. д. для того, чтобы помочь науке о языке найти то специфическое, «собственно» языковое, чем не занимались бы другие науки — история, психология, физиология — чтобы выделить предмет языкознания как самостоятельную науку. И вот ирония судьбы: вырвав языкознание из «путь» истории, психологии, физиологии, он бросил его в сети семиотики.

Но вернемся к знакам.

Знаки в системе объединяются в классы. Это грамматика знаковой системы. Вот хорошо всем известный светофор. В нем всего три знака: красный (стойте), зеленый (идите) и желтый (внимание, сейчас произойдет смена знака). Неужели и у такой простой системы есть своя грамматика? Оказывается, есть.

Прежде всего бросается в глаза, что знаки светофора делятся на две группы. Одна, которую можно условно назвать «основной», включает два знака — красный и зеленый. Они и являются собственно знаками, запрещаю-



шими или разрешающими движение. Другая, «вспомогательная» группа состоит всего из одного знака — желтого, который лишь фиксирует наше внимание на том, что сейчас произойдет смена основных знаков.

Не так ли и в языке? Есть слова знаменательные, которые обозначают что-то сами по себе, и служебные, которые указывают на отношения между знаменательными словами. Например, слова *книга* и *стол* — знаки предметов, которые могут занимать разное положение в пространстве относительно друг друга, что обозначается соответствующими предлогами:

*книга на столе*  
*книга под столом*  
*книга возле стола*  
*стол на книге* и т. д.

Показательно, что в последние годы в наших городах появились двухцветные светофоры с надписями «стойте» (красной) и «идите» (зеленой). В них отсутствует промежуточный желтый свет. В этом случае вспомогательный знак либо не подается совсем, либо обозначается миганием горячей надписи. Иными словами, в этих ситуациях вспомогательный знак либо отсутствует, либо резко отличается от основных устройств плана выражения.

В трехцветном же светофоре все три знака имеют одинаковый план выражения — круги определенного цвета. Что же отличает знаки двух классов?

Рассмотрим все возможные комбинации последовательностей двух разных цветов в трехцветном светофоре. Таких комбинаций 6.

красный — желтый  
красный — зеленый  
зеленый — красный  
зеленый — желтый  
желтый — красный  
желтый — зеленый

Какие из них реально возможны, а какие невозможны и почему (разумеется, речь идет об исправном светофоре)? Даже если вы никогда не видели светофора, всего за 2—3 минуты наблюдений вы сможете дать правильный ответ — возможны комбинации:

красный — желтый  
зеленый — желтый  
желтый — красный  
желтый — зеленый

невозможны комбинации:

красный — зеленый  
зеленый — красный

Нетрудно заметить, что желтый свет сочетается с любым из двух других, а красный или зеленый — только с желтым. Вот вам и внешнее проявление различий двух классов, выражающееся в различии их сочетаемости.

Не так ли и в языке? Разные классы слов имеют разную сочетаемость.

Так, прилагательное сочетается с существительным и не сочетается с глаголом, а наречие — с глаголом, но не с существительным. Можно сказать:

*Во время кипения из жидкости бурно выделяются пузырьки пара* или:

*Когда жидкость кипит, мы наблюдаем бурное выделение пузырьков пара.*

Но нельзя сказать:

*«Во время кипения из жидкости бурное выделяются пузырьки пара»* или:

*«Когда жидкость кипит, мы наблюдаем бурно выделение пузырьков пара»*, чтобы при этом бурно относилось не к наблюдаем, а к выделению.

Как видите, семиотический подход к изучению языка очень важен и интересен. Приведенные параллели между нашим языком и «языком» светофора не случайны. Они охватывают весьма существенные закономерности устройства языка.

Рассмотрим теперь некоторые из законов знака.

Знак произволен. В самом деле, почему у светофора именно зеленый цвет обозначает «путь свободен», а красный — «путь закрыт»? Почему в русском языке стол называется именно *столом*? И почему один и тот же предмет у русских называется *стол*, у немцев — *ein Tisch*, а у англичан — *a table*?

Правда, и здесь есть загвоздка.

Ну, хорошо, мы не знаем, почему стол называется *сто-*



дом (кстати, этого мы не знаем лишь с точки зрения статики. Историки же языка предполагают, что слово *стол* произошло от глагола *стлать*). Но ведь для всех ясно, что слово *космонавт* произошло от слова *космос*. Какая уж тут произвольность?!

Действительно, слово *космонавт* явно связано со словом *космос*, или, как говорят лингвисты, мотивировано словом *космос*. Однако это лишь одна из возможных мотивировок. И выбор ее в конечном счете столь же произволен, как и выбор слова *аэстра* (по-латыни «звезда») для мотивировки в слове *астронавт*, которое у американцев обозначает то же самое, что у нас *космонавт*. Обратите внимание на то, как описывает путешествие по СССР и США экипажей космических кораблей «Союз» и «Аполлон» летчик-космонавт Владимир Шаталов (газета «Известия» за 6 ноября 1975 г.):

«*Космонавты и астронавты*, их семьи действительно потом смогли убедиться сами, что желание народов Советского Союза и Америки жить в мире и согласии едино».

И здесь мы сталкиваемся с другим законом знака: являясь произвольным, знак одновременно устойчив. Более того, еще один парадокс Соссюра: устойчивость знака тесно связана именно с его произвольностью. Почему же?

В самом деле, в принципе можно было бы называть что угодно чем угодно. Но если в обществе какие-то названия уже закрепились, то их ломка, замена всегда неудобна для людей, так как нарушает привычность. Итак, нарушение устойчивости знака имеет явные минусы. А плюсы? Они были бы, если бы знак не был произволен. Тогда малейшее изменение вещи влекло бы за собой и изменение ее названия, нарушая устойчивость знака. Но ведь если знак произволен, то чем новый знак будет лучше старого в обозначении данного «нечто»? По-видимому, ничем. Именно поэтому произвольность знака не вызывает необходимости его замены и тем самым поддерживает его устойчивость. В самом деле, поскольку название уже закрепилось, нужно употреблять именно его. Поэтому название *космонавт* по отношению к американцам выглядило бы таким же нарушением закона устойчивости знака, как и название *астронавт* по отношению к советским космонавтам.

Между тем, пока космонавты и астронавты существовали «сами по себе», никаких неудобств от такой традиции не возникало. Но совместная деятельность их привела к новой и притом довольно странной ситуации: люди в общем-то одной и той же профессии должны в одном и том же предложении называться разными словами. Это громоздко, неуклюже. Где же выход? Это новое «нечто» — коллектив и советских космонавтов, и американских астронавтов — нуждается в более удачном знаке. В той же статье Владимира Шаталова мы встречаем один из возможных вариантов нового «знака»:

«...*астрокосмонавты* за месяц путешествий по Советскому Союзу и по США смогли увидеть сравнительно небольшую часть территории двух наших огромных стран...»

Исключительно теплый прием, оказанный *астрокосмонавтам*... убедительно продемонстрировал, как сильно в наших странах желание сотрудничать.

Полет «Союза» и «Аполлона» стал символом разрядки международной напряженности. И именно поэтому *астрокосмонавтов* ввойне радушно встречали и в Советском Союзе, и в Америке...

За время визита *астрокосмонавты* побывали в Звездном городке...»

Закрепится ли этот знак в нашем языке? Этот вопрос уже выходит за пределы проблем статической системы языка и связан с динамикой языка, речью, историей.

Как видим, в принципе и этот знак так же произволен, как и другие (хотя мотивированность его очевидна), а если он закрепится в системе языка, то будет и столь же устойчив, как и другие.

Есть у знака и другие законы. Самый интересный и важный из них — это закон системности знаков.

Впрочем, прежде чем перейти к разговору о том, что такое системность знака, я хочу предложить вам «информацию к размышлению». Представим себе такое начало детективного романа:

«Иван Иванович Иванов (так теперь называли Иоганна Шварца) весь день мотался по городу, бегая от одного цветочного магазина к другому.

— Черт возьми! И угораздило же меня!

Наконец, потеряв уже всякую надежду, он увидел то, что искал, — скромную герань в маленьком горшочке.



Трясущимися руками он отсчитал деньги, вскочил в такси, подъехал к своему дому, быстро вбежал в квартиру, поставил горшочек на середину подоконника и только после этого облегченно вздохнул. На часах было 15.42. До 17 часов еще есть время. Можно не торопясь восстановить в деталях это глупое происшествие. Именно сегодня, 15 марта, в 17.00 к нему должен явиться для связи Петр Петрович Петров (он же Петер Браун). Он войдет



в дом лишь в том случае, если на середине подоконника крайнего окна второго этажа он увидит герань в горшочке — знак безопасности. Но вчера вечером, задерживая шторы, Иоганн Шварц сделал неловкое движение. Горшочек — вдребезги, а цветок похож на что угодно, но только не на герань. Вот и пришлось, проклиная все на свете, искать другой цветок герани. Но теперь, слава богу, все позади! Правда, новый цветок побольше, да и ярче. Но это не беда.

На часах 17.00. Раздался звонок. Иоганн открыл дверь. На пороге стоял Петер...

Оставим двух шпионов беседовать между собой и обратим внимание вот на что: то Иоганн и Петер имели дело с двумя цветками герани (при этом несущественно,

что Петер мог даже и не заметить подмены). Так что же, это два знака или один знак?

Для того чтобы показать, что вопрос не такой уж простой, укажу на трудности при любом варианте ответа:

1) Если два цветка герани — это два разных знака (а они и внешне немного разные), то почему для Петера, да и для Иоганна, все равно, какой из этих двух (а может быть, из десяти, ста, тысячи) знаков будет стоять на окне — ведь им нужен один, определенный знак — знак ситуации отсутствия опасности. Значит, есть что-то, объединяющее эти два знака (или тысячу знаков — это ведь уже все равно) в один? Но ведь знаков-то два!

2) Если два цветка герани — это один знак, то как быть с тем, что самих-то цветков два (тысяча)? Или это для знака безразлично? И то, какой цветок — большой или маленький, яркий или бледный, несущественно? Но тогда что же существенно? Ведь цветок — это всегда конкретная вещь! И он не может не быть большим или маленьким, ярким или бледным. Иначе это не конкретный цветок, а какая-то абстракция! Но ведь абстракция же не может стоять на окне! Там все-таки должен быть конкретный цветок (большой или маленький, яркий или бледный), иначе Петер ничего не увидит!

А разве не то же самое и в языке? Вот я написал слово *стол* разными буквами:

СТОЛ, стол.

Что это: два знака? Или один знак?

Я могу написать это же слово *один* *а* *ков* *ыми* *бук-* *вами*:

стол, стол.

А что это: два знака? Или один знак?

Наконец, я могу произнести это же слово — громче или тише, басом или тенором: *стол, стол, стол...* А здесь сколько знаков?

Нужно сказать, что проблема эта не столь уж проста. Во всяком случае, среди ученых нет единодушия в ее решении. И любой вариант не претендует на окончательность и бесспорность. В том числе, по-видимому, и ваш. Но это не страшно. Думайте, держайте!



Как я уже говорил, наиболее существенная закономерность знаков — это их системность. По существу, все, что до сих пор говорилось о языке как системе знаков, — это лишь прелюдия к самому важному открытию Соссюра. И открытие это базируется на идее системности языка.

## Глава 3

### А что, если у стула сломать спинку!

(Начальное знакомство с системностью)

Что же такое системность языка?

Системность языка — это внутренне организованная совокупность его элементов, связанных определенными отношениями.

Начнем с примера. Проведем небольшой эксперимент (я и в дальнейшем часто буду проводить с вами подобные эксперименты). Скажите сами (и поспрашивайте своих родных и знакомых): что означает слово *стул*?

Обычно отвечают приблизительно так: «Стул — это то, на чем сидят». Иногда получаем более «научный» ответ: «Стул — это приспособление, предмет, предназначенный для сидения на нем». При этом могут прибавить еще какой-нибудь признак, например «на четырех ножках», но это редко и между прочим.

Почему объясняют это слово именно так? Потому, что служить приспособлением для сидения — главное назначение стула: это то, что отличает его от кровати, стола (сидеть на них можно, но в обществе не принято, во всяком случае, они предназначены не для этого), от шкафа (попробуй взобраться на него!), от телевизора (теперь даже трехлетние дети понимают, что на него садиться нельзя!). И уж, конечно, это отличает стул от ботинка, дома, забора, реки, камня (он не предназначен специально для сидения), города, неба, графика...

Поэтому такое объяснение слова *стул* достаточно, чтобы выделить этот предмет в ряду других, не предназначенных для сидения.

Но ведь в языке есть слова, обозначающие предметы, которые также предназначены для сидения, но стульями не являются. Поэтому приведенная характеристика значения слова *стул* оказывается, как говорят математики, необходимой, но недостаточной и потому неточной.

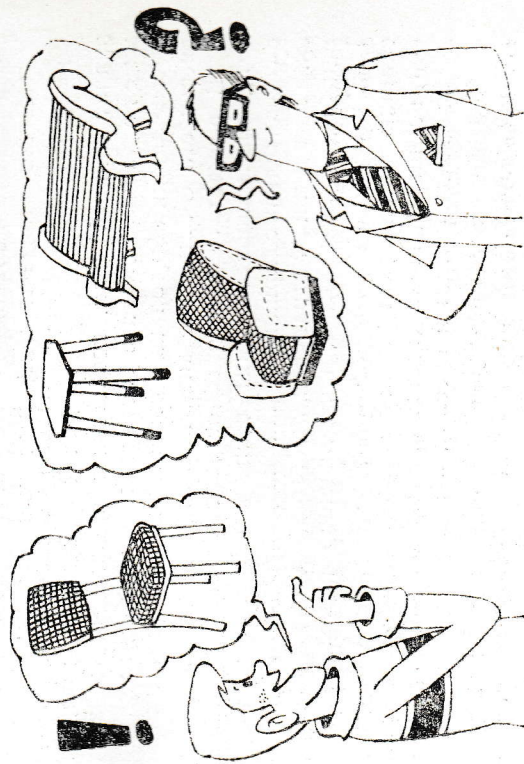
В самом деле, если вы ответите: «Стул — это приспособление для сидения, на четырех ножках», то я могу ехидно заметить, что вы мне объяснили, что такое табуретка. И вы со смущением должны будете признать, что я прав. Но тут же поспешно добавите, что ведь у табуретки нет спинки, а у стула она есть.

В самом деле, ведь и табуретка — тоже предмет, специально (как и стул) предназначенный для сидения. И для того чтобы отличить стул от табуретки, к объяснению слова *стул*, которое вы уже дали раньше, просто необходимо прибавить элемент значения «имеющий спинку».

Итак, стул — это приспособление для сидения, на четырех ножках, имеющее спинку.

— Да, но вы забыли о кресле! — продолжаю я «допрос с пристрастием».

— Совершенно верно! У стула нет подлокотников! А у кресла они, как правило, есть. Значит, стул — это





приспособление для сидения, на четырех ножках, имеющее спинку, но не имеющее подлокотников.

— Но ведь это объяснение скамейки! — не понимаю я.

— Ах да! Я совсем забыл (забыла), что стул рассчитан на одного человека!

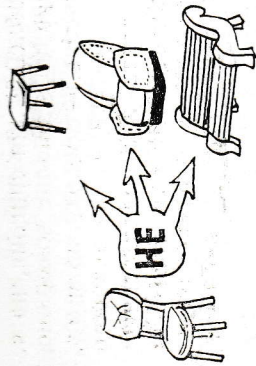
Ну вот, теперь, кажется, все. Мы выяснили, чем же отличается стул не только от того, что для сидения специально не предназначено, но и от своих «собратьев» — предметов, специально приспособленных для сидения.

Итак, стул — это специальное (а не случайное, как бревно или стол) приспособление для сидения (а не для других действий или состояний, как кровать, дом), имеющее спинку (в отличие от табуретки, пуфика), не имеющее подлокотников (в отличие от кресла), рассчитанное на одного человека (в отличие от скамейки, дивана).

Итак, для того чтобы точнее определить, что значит слово-знак *стул*, мы должны были сопоставить его с другими словами-знаками, и прежде всего с наиболее близкими ему — *табуретка*, *кресло*, *скамейка*. Вот вам первый парадокс, вытекающий из системности в языке: для определения того, что значит данный знак, необходимо прежде всего знать место данного знака в системе, т. е. знать, что значат другие знаки, ибо только в сопоставлении с ними и выявляется его собственное значение.

В результате такого сопоставления знаков (точнее, даже противопоставления) выявляются самые важные различительные признаки. Их называют дифференциальными. Устранение любого из таких признаков неизбежно приводит к неразличению разных знаков. Так, мы уже убедились, что неучет признака «наличие спинки» ликвидирует различие между стулом и табуреткой, неучет признака «отсутствие подлокотников» — различие между стулом и креслом и т. д.

И само это неразличение разных знаков возможно именно потому, что данный дифференциальный признак был единственным их различием в системе.



А как же быть с четырьмя ножками? С тем, что на спинке могут быть дополнительные перекладные? С тем, что сиденье может быть мягким? С тем, что обычно стул бывает из дерева? И с многими-многими другими признаками, которые мы можем перечислить, говоря о стуле?..

Да нужно ли все это для определения значения нашего слова?

Нет! Все это несущественно. И дело не в том, что стул может быть на четырех ножках, а может быть и на трех и даже в принципе на одной или двух.

Даже если бы он был обязательно на четырех ножках, все равно этот признак не являлся бы важным для системы. Такой признак называют интегральным. Правда, при определенных условиях он может оказаться важным для системы, дифференциальным признаком, если он будет различать разные знаки. Скажем, деревянные стулья останутся *стульями*, а современные, из металла и пластика, станут называться как-нибудь иначе, например «сиделки» (что в принципе вполне возможно, хотя и вряд ли будет осуществлено, потому что, кажется, ни к чему различать стулья по материалу, из которого они сделаны). Но если такой знак «сиделка» вдруг появится в нашем языке, вот тогда признак «сделанный из дерева» из интегрального превратится в дифференциальный, отличающий наш добрый старый *стул* от такой «сиделки».

Впрочем, все может быть и наоборот: дифференциальный признак может стать интегральным.

Допустим, что все приспособления для сидения типа диванов, скамеек и т. п. начнут делать всегда меньших размеров, чем сейчас, в расчете на одного человека (это, конечно, тоже маловероятно, однако теоретически опять-таки вполне возможно). Тогда признак «рассчитанный на одного человека» автоматически превращается из дифференциального в интегральный, так как, хотя он и остается у *стула*, ему нечего уже различать. И если все же нужно будет отличить *стул* от *скамейки*, то для этого должен будет появиться какой-то новый признак (скажем, «помещающийся в комнате» для *стула* в отличие от «помещающийся на улице» для *скамейки* или что-нибудь в таком роде).

Итак, мы можем выделить у стула как вещи массу признаков (у него есть и спинка, и четыре ножки, он сле-



лан чаще всего из дерева и рассчитан на одного человека и т. д.). Однако для *стула* как знака важны лишь дифференциальные признаки и не важны признаки интегральные. Но ведь то, какие из признаков *стула* являются дифференциальными, а какие — интегральными, зависит не от свойств самого стула, а от свойств системы знаков, в которую включен знак *стул*.

При этом переход признаков из интегральных в дифференциальные и наоборот никак не связан с изменением свойств самого стула как вещи (стул остается одним и тем же!), но связан лишь с изменением числа и характера знаков в системе, противопоставленных знаку *стул*. Если же система не изменится, то не изменится и набор дифференциальных признаков у знака *стул*, хотя стул как вещь может измениться (сейчас стулья делают с более удобной спинкой и меньшей высотой сиденья, чем раньше. Более современными и разнообразными стали и формы стульев).

Таким образом, намечается еще один парадокс, вытекающий из системности в языке: знак, который создан для обозначения вещи, как бы отрывается от этой вещи и начинает вести самостоятельное существование, которое зависит уже не от этой вещи, но от системы знаков, элементом которой он является.

Вот, оказывается, какая своеобразная вещь системность языка! Закон, отражающий эту системность, может быть сформулирован примерно так: элемент языка существует лишь постольку, поскольку он противопоставляется другим элементам языка. Иначе он существовать не может. Системность — не «довесок» к свойствам элементов языка, а главное и неприменимое условие самостоятельного существования этих элементов.

Содержание языкового знака, его «ценность» определяются его местом в системе. В разных системах одни и те же, казалось бы, знаки имеют разную ценность.

Вот мы и познакомились с главным открытием Сосюра.

Для того чтобы вы лучше поняли, что такое ценность знака, рассмотрим еще один пример.

В средней школе существует пятибалльная система оценок: 5, 4, 3, 2, 1. В вузах, по существу, те же оценки, хотя система четырехбалльная: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно»

(2). Как по-вашему, одинаковый ли характер незнания материала оценивается «двойкой» в школе и в вузе?

На первый взгляд сам вопрос звучит нелепо: что тут выяснять, ведь двойка — это всегда двойка! Это всегда плохо! Да, это всегда плохо. Но насколько это плохо? И может ли быть хуже? Как ни странно, может! Правда, лишь для школьника, но не для студента.

В самом деле, посмотрите на схему. Если все «пространство» от полного незнания к полному знанию мы разобьем на «зоны» в соответствии со степенью этого знания (или, если угодно, незнания), оцениваемой в баллах, то окажется, что то пространство, которое у студентов обозначает незнание и оценивается одной, недифференцированной оценкой 2, у школьников еще дополнительно дифференцируется по степени «полноты» этого незнания (оценка 2 обозначает «плохо», а оценка 1 — «очень плохо»):

Для школьников	5	4	3	2	1
Для студентов	5	4	3	2	

Так что студент-двоечник — это безусловно самый плохой студент, а ученик-двоечник — хоть и плохой, но может быть и хуже: представьте себе ученика-«единичника»!

Конечно, для «двоечника» это слабое утешение, тем более что учителя пускают в ход «единицу» редко и скорее — как оценку эмоциональную, чем по существу знаний. Но, так или иначе, теоретически у него всегда есть возможность говорить в свое оправдание, что он все же еще не «единичник», точно так же, как у «троечника» — что он еще не «двоечник».

Говоря о системности знаков, о ценности знака, необходимо еще раз подчеркнуть, что в окружающем нас мире предметы существуют независимо от языка. Поэтому все наши рассуждения относились не к вещам, а к языку, который как раз и существует для того, чтобы различать эти вещи.

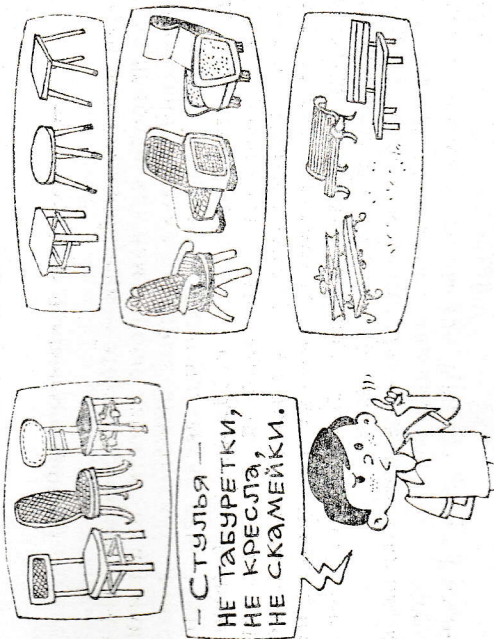
И вот здесь мы сталкиваемся с другим важным свойством системности элементов языка: системность обеспе-



чивает не только различие, противопоставление предметов, но и их объединение, отождествление.

Отличив стул от дивана, кресла, табуретки, язык может нам тем самым объединить в один класс все стулья, независимо от их индивидуальных особенностей.

Сумма дифференциальных признаков не только отделяет от класса *стул* все, что не имеет этой суммы (независимо от деталей), но и, что не менее важно, объединяет в этот класс все, что имеет такую сумму (опять-таки независимо от деталей: формы спинки или сиденья, количества ножек или материала, из которого стул изготовлен, и т. п.).



Так из огромного количества признаков предметов в процессе речевой деятельности народа отбираются для системы языка лишь самые важные, самые существенные. И все бесконечное разнообразие предметов и явлений внешнего мира сводится в сравнительно немногочисленное число классов, каждый из которых обозначается определенным знаком. Этот знак закреплен в системе языка и служит для выделения каждого предмета данного класса в отличие от всех других предметов остальных классов, обозначенных другими знаками.

Итак, мы познакомились с тем, что означает системность языка. Впрочем, системность требует более при-

стального рассмотрения — рассмотрение по разным «уровням» (или «ярусам») языка. Так, вы, наверное, обратили внимание на то, что все примеры, о которых шла речь, показывают системность отношений плана содержания и языкового знака. А есть ли системность в плане выражения? Об этом — следующая глава нашей книги.

## Глава 4

### У бедя дасборг

#### (Системность на фонемном уровне)

Звуки человеческой речи — это те же «вещи». Их физическая природа, как вам хорошо известно из физики, — это колебания воздуха, которые имеют силу, длительность, высоту тона, тембр. Конечно, звуки речи — это не герань и не стул. Однако в природе они существуют, и не менее реально, чем такие явления, как гром, скрип, стук, грохот. Издают звуки речи люди с помощью специального речевого аппарата, который сформировался у них за сотни тысяч лет эволюции на основе органов дыхания, пищеварения, вкуса и обоняния.

Но ведь людей так много! Один говорит тенором, другой — басом. И, кроме того, каждый говорит то тихо, то громко, то медленно, то быстро. Как тут быть? Как разобратся в этом море звуков?

И здесь, в плане выражения, мы встречаемся с тем же системным устройством языка, с которым уже познакомились на примере плана содержания (вспомните разговор о стуле!). Именно системное устройство языка группирует все бесконечное количество звуков, как уже произнесенных, так и еще «не родившихся», в сравнительно небольшое число классов — на основе все тех же, уже известных вам дифференциальных признаков. Эти классы называются фонемами. Причем, оказывается, изучать систему фонем даже легче, чем, например, систему слов, потому что фонем значительно меньше. Так, в русском литературном языке меньше 50 фонем, но несколько сот тысяч слов.

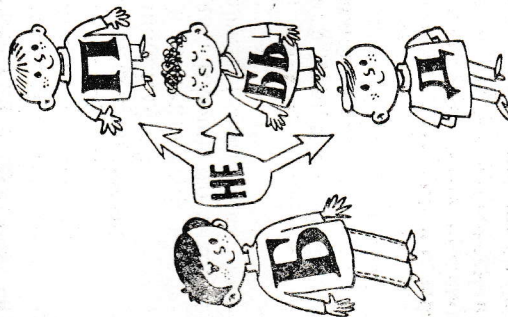


Не случайно исследование системности фонем началось гораздо раньше, чем изучение системности слов, а саму идею фонемы Иван Александрович Бодуэн де Куртене выдвинул задолго до появления книги Соссюра.

Итак, фонема, как и слово, представляет собой набор дифференциальных признаков. Вспомните нашу игру с определением того, что такое *стул*! Точно так же мы можем поиграть и здесь. Например, ответьте мне: что такое фонема «Б»?

Давайте соображать! Ага! «Б» — не «П», потому что «Б» — звонкое. Значит, один дифференциальный признак мы уже нашли — звонкость. Впрочем, это мы в школе проходили! Далее. «Б» — не «Бб», потому, что «Б» — твердое. Так. О твердости мы тоже кое-что слышали. «Б» — не «Д»... Да, безусловно, «Б» — не «Д». А почему? Давайте еще раз попробуем! Следите за своими губами и языком: «Б» — «Д», «Б» — «Д»... Ага! При произнесении «Б» активно работают губы, а при произнесении «Д» — кончик языка у верхних зубов. Итак, «Б» — губное в отличие от «Д», которое «язычное».

Давайте пока остановимся.



Для того чтобы понять принцип противопоставления фонем, совсем не обязательно выявлять все дифференциальные признаки фонемы «Б». Итак, «Б» — не «П», не «Бб», не «Д». Знакомая схема, не правда ли? Впрочем, это еще не все! Ведь «Б» отличается от «П» точно так же, как, например, «Д» от «Т», а «Бб» — от «Пб». Значит, звонкость — это дифференциальный признак, который различает не одну пару фонем, а несколько.

А мягкость? Тоже! Сравните хотя бы: «Д» — «Дб», «Т» — «Тб», «П» — «Пб».

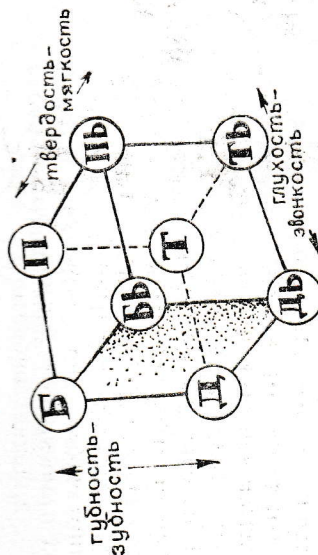
То же самое и с «губностью»: «П» — «Т», «Бб» — «Дб», «Пб» — «Тб».

Очень удобно представить уже не одну фонему, а целый фрагмент системы русских фонем на таблице:

	Звонкость	Твердость	Губность
Б	+	+	+
Д	+	+	-
Бб	+	-	+
Дб	+	-	-
П	-	+	+
Т	-	+	-
Пб	-	-	+
Тб	-	-	-

Знаком (+) отмечается наличие у данной фонемы того или иного дифференциального признака, а знаком (-) — отсутствие его. Как видите, у каждой из фонем своя, неповторимая комбинация (+) и (-).

Еще нагляднее можно представить этот фрагмент системы фонем на кубике:



В вершинах кубика мы разместили фонемы, каждое ребро обозначает тот или иной дифференциальный признак (все параллельные ребра — один и тот же дифференциальный признак). На схеме-кубике очень хорошо видно, что фонема — это набор (или, как говорят лингвисты, пучок) дифференциальных признаков.

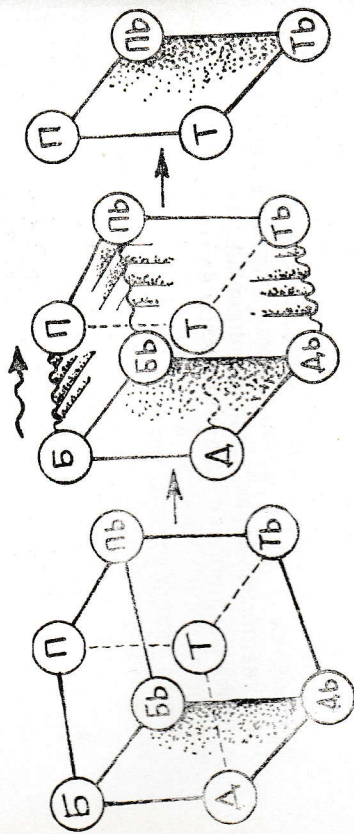
Очень хорошо также видно, что фонемы, которые различаются лишь одним дифференциальным признаком (например, «Б» — «П»), оказываются значительно бли-



же друг к другу в системе, чем фонемы, которые различаются двумя («Б» — «Т») или даже тремя («Б» — «Тб») дифференциальными признаками.

Но эта близость особенно опасна для системы. Почему же?

Давайте сплющим кубик по ребрам звонкость — глухость! Превратим его в квадрат:



Что мы сделали с точки зрения системного устройства языка? Мы устранили (или, как говорят лингвисты, «нейтрализовали») различие между фонемами по звонкости — глухости, сняли дифференциальный признак «звонкость». Кстати, это явление придумано не мной — оно широко распространено в русском языке перед глухим согласным или в конце слова. Вспомните, сколько у вас было мучений с такими согласными, ведь мы произносим *лоДок*, но *лоТка*; *дуБа*, но *дуП*; *роГа*, но *роК*.

Что же происходит при нейтрализации? Рассмотрим такие пары слов:

*раб* — *рать*  
*лоб* — *лот*  
*столб* — *столп*

(помните, у А. С. Пушкина в «Памятнике»: «Вознесся выше он главою непокорной Александрійского *столпа*»?).

«Б» стоит в конце слов *раб*, *лоб*, *столб* и потому звучит как глухой: *раП*, *лоП*, *столП*. Но в первых двух парах слов это несущественно для смысла различия:

*раП* — *раТь*  
*лоП* — *лот*

Ведь у «Б» (теперь уже «П») остались «в запасе» дифференциальные признаки, отличающие его от «Т» и «Тб».

В третьей же паре происходит довольно-таки неприятная вещь:

*столП* — *столП*

Исчез единственный дифференциальный признак — и теперь не различить, где *П* из «Б», а где *П*, так сказать, «исконное». И слова-то *столП* и *столП* теперь никак не различить без дополнительных шуток нейтрализации! Вот почему особенно важен учет именно тех случаев, когда элементы системы различаются одним-единственным дифференциальным признаком!

Если же этот признак все-таки нейтрализуется, то для различения смысла нужно постараться установить, что же на самом деле стоит за этим нейтрализованным элементом.

Так, в нашем примере, как уже говорилось, *П* при произнесении слова *столП* должно быть соотносено либо с «П» (*столп*), либо с «Б» (*столб*). Только решив эту головоломку, мы правильно поймем это слово (разумеется, если нет других «нагаливающих» моментов).

Но здесь встает новая задача: *П* и соотношенное с ним *Б* в *столП* — *столБы* (*столб* — *столбы*) — это варианты одной фонемы? Или это разные фонемы? И в связи с этим *П* в *столП* (*столб*) и *П* в *столП* (*столп*) — это разные фонемы? Или это одна фонема?

Казалось бы, все очень просто: конечно, *П* и *Б* — это разные фонемы, и в *столП* — *столБы* (*столб* — *столбы*) мы наблюдаем чередование фонем, а *П* и *П* в *столП* — *столП* (*столб* — *столп*) — одна фонема, ведь у них одни и те же дифференциальные признаки. Приблизительно таким образом рассуждают фонологи так называемой ленинградской школы. И они правы.

Однако фонологи так называемой московской школы с ними не согласны, ведь *П* в *столп* — «исконное», а *П* в *столб* — нейтрализованное. И потому с точки зрения системы это разные «П»: одно воспринимается как вариант «Б» (*столб*), а другое — как «вариант» «П» (*столп*), ведь именно потому мы и можем различать *столП* и *столП*



как *столи* и *столб*, что осознаем эти «П» как варианты разных фонем, т. е. эти «П» — разные именно с точки зрения смыслового различия. Как видите, представители московской школы тоже по-своему правы.

Спор этот идет уже несколько десятилетий и, по существу, привел к построению двух различных фонологических теорий. Но я не стану сейчас вовлекать вас в тонкости этого спора, поскольку у вас нет еще необходимой для него специальной лингвистической подготовки. Отмечу только, что не всегда нейтральная подготовка к таким серьезным последствиям, как полная утрата смысловых различий.

Часто смысловое различие все же не нарушается, хотя искажение в результате нейтрализации может быть очень сильным.

В повести Льва Кассиля «Кондунг и Швамбрания» есть такой эпизод. При слиянии мужской и женской гимназий мальчики организовали «специальную комиссию» для выбора девочек в класс.

«Первой я записал Таю Опилову, обладательницу толстой золотой косы.

— Я сегодня не в лице, — сказала в нос Тая Опилова, — у бедя дасборг...»

Чтобы понять, почему у Таи Опиловой получилась такая фраза, рассмотрим еще две фонемы:

«М» (как в слове *мать*),

«Н» (как в слове *нож*).

В чем особенность этих фонем? При произнесении звуков резонатором обычно служит полость рта. Однако при произнесении некоторых из них дополнительным резонатором оказывается и полость носа. Это так называемые «носовые». К ним относятся и «М», и «Н». В нормальных условиях попадание струи воздуха из глотки в полость носа при произнесении звуков регулируется мягкой нёбной занавеской, расположенной возле глотки. Эта занавеска то открывает полость носа (и тогда включается носовой резонатор и произносятся носовые звуки), то закрывает ее. Но это, повторяю, в нормальных условиях.

Во время же простуды — увы! — нос часто бывает, как мы деликатно говорим, «заложен». В этом случае носовой резонатор не может быть включен, и, как ни ста-

раться, носовых звуков нам не произнести. Что же получается?

Сравним две пары фонем:

«Б» — «М»

«Д» — «Н»

В обоих случаях дифференциальный признак, различающий эти фонемы, один и тот же — участие носовой полости (для «М» и «Н»). А если носовой резонатор не включается, происходит уже знакомая нам нейтрализация и «М» превращается в «Б», а «Н» — в «Д». Вот почему фраза *У меня насморк* превратилась у незадачливой Таи в «У бедя дасборг».

Впрочем, и вы можете получить такой же результат. И для этого вовсе не нужно ждуть сильной простуды. Достаточно просто плотно сжать двумя пальцами нос и громко произнести все ту же фразу: *У меня насморк*. А потом спросить у окружающих, что же у вас получилось...

Все, о чем вы до сих пор говорили, связано с дифференциальными признаками фонем.

А есть ли у фонем интегральные признаки? Каковы они? И главное — что происходит, если они нарушаются? Мы уже выяснили, что для многих фонем русского языка мягкость является четким дифференциальным признаком:

«Б» — «Бь», «Т» — «ТЬ», «П» — «Пь» и т. д.

А вот, например. «Чь» осталась в гордом одиночестве: у нее нет пары, от которой «Чь» отличалось бы только мягкостью.

Мы говорим: *Чья, Чистый, куЧя*.

А возможно ли произнесение твердого «Ч»? Что же, вполне. И так даже говорят по-русски в некоторых западных областях РСФСР, близких к Белоруссии: не *чья*, а *чай*; не *чистый*, а *чыстый*, не *куЧя*, а *куЧА*. И мы сразу же замечаем то, что обычно называется «акцентом», — непривычное произнесение звуков, не соответствующее нормам литературного языка. Но при этом никогда (и никогда именно потому, что нарушены признаки интегральные) подобное произношение не затрудняет понимания.

Таковы некоторые важные закономерности системы фонем.



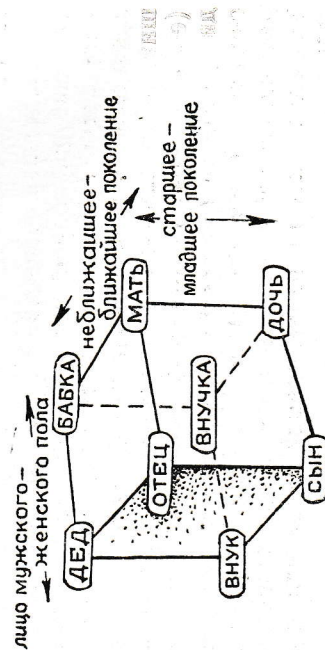
# Две матери, две дочери да бабушка с внучкой, а всего трое

(Системность на лексическом уровне)

Вернемся к лексике. Приступая к более глубокому знакомству с лексической системой, проанализируем ее фрагмент — термины прямого родства. Для трех основных для человека поколений это следующие термины: отец, сын, дед, внук, мать, дочь, бабушка, внучка. В таблице, принцип составления которой уже знаком вам из главы о фонемах, этот фрагмент системы выглядит так:

	Мужской пол	Ближайшее поколение	Старшее поколение
1	отец	+	+
2	сын	+	-
3	дед	+	+
4	внук	+	-
5	мать	-	+
6	дочь	-	-
7	бабушка	-	+
8	внучка	-	-

Можно построить и уже знакомый нам кубик:



Как видите, параллелизм устройства системы фонем и системы слов как будто бы полный.

Правда, кое-что сразу же может вас насторожить. Вот, например, если дифференциальный признак по полу чрезвычайно распространен не только для обозначения людей, но и многих животных (*тигр — тигрица, слон — слониха, селезень — утка, бык — корова, баран — овца*), то термины, различающие разные поколения, обычно не употребляются для различения животных. Если же и возникает необходимость эти поколения все же обозначить, то прибегают к «человеческой» терминологии. Так бывает в сказках. Помните, у С. Я. Маршала: «Прибежала *мышка-мать* — никого! Пуста кроватка». Так бывает и в тех случаях, когда на животных составляется подробная родословная (например, на породистых лошадях или собаках).

Итак, разные дифференциальные признаки по-разному распространены в системе. Это ли не особенность лексической системы?

Но разве не сталкиваемся мы с этим же в системе фонем?

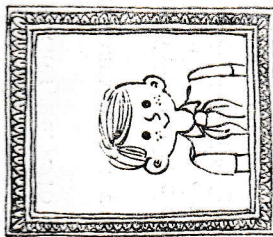
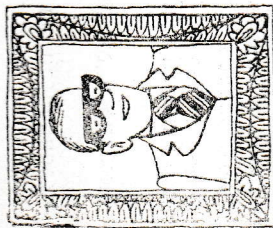
Вспомним, насколько важны для системы русских фонем дифференциальные признаки «звонкость» или «мягкость», — они входят в состав почти всех согласных фонем русского языка. И насколько ограничено распространение дифференциального признака «включение носового резонатора» — всего лишь для четырех пар фонем он является дифференциальным: «М» — «Б», «МЬ» — «БЬ», «Н» — «Д», «НЬ» — «ДЬ». Так что здесь на самом деле никаких принципиальных отличий системы фонем от системы слов нет.

Продолжая сравнение устройства двух систем, зададим еще раз вопрос: что же будет, если у стула отломать спинку? Превратится ли стул в табуретку (ведь единственный дифференциальный признак, их различающий, нейтрализован)? Или останется «вариантом» стула (если так можно обозначить сломанный стул)? Как видите, вопросы эти такого же характера, как и вопросы, связанные с тем, что такое *П* в *столП* (*столб*), в словах московской и ленинградской фонологических школ. Так что и здесь мы видим прямой параллелизм двух систем.



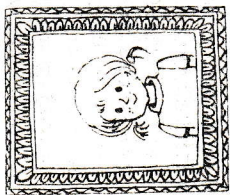
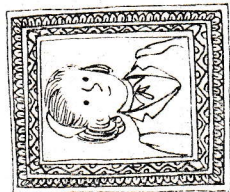
Впрочем, все же особенности в лексической системе есть (я уже говорил, что система фонем значительно проще!). Ведь лексическая система охватывает названиями все многообразие предметов и явлений окружающего нас мира, все, что касается природы и человека, вещей и идей. Остановимся лишь на одной из особенностей, касающихся самого характера знаков.

Так, дифференциальный признак «наличие спинки» в числе других постоянно характеризует данную вещь как стул и не может характеризовать ее как табуретку, а дифференциальный признак «мужской пол» в числе других постоянно характеризует данного человека как мужчину и не может характеризовать его как женщину именно потому, что эти признаки являются постоянными признаками собственно данной вещи, данного человека.



Дифференциальные же признаки, характеризующие поколения родственников, могут одновременно характеризовать одного и того же человека и как отца, и как сына, и как деда, и как внука. Эти признаки являются переменными, они характеризуют не собственно данного человека самого по себе, но отношения данного человека с другими людьми (сравните: *Петр — мужчина*, но *Петр — отец Василия* — обязательно нужно указать, чьим отцом является Петр). А поскольку один и тот же человек одновременно находится в разных родственных отношениях с разными людьми, то его могут характеризовать разные знаки, показывающие отношения родства, даже если сами эти знаки противопоставлены друг другу дифференциальными признаками. Народная мудрость давно уже заметила эту особенность признаков, обозначающих термины родства, и выразила

ее в остроумной загадке, послужившей названием этой главы: «Две матери, две дочери да бабушка с внучкой, а всего трое». В самом деле, если три женщины (Мария Ивановна, Анна Васильевна, Нина Петровна — *A, B, C*) состоят в родстве, так, что *A* — мать *B*, а *B* — мать *C*, то действительно в этом случае среди этих трех человек две



мать —  
дочь

—

дочь

—  
внучка

мать —  
бабушка

матери (*A* и *B*), две дочери (*B* и *C*) и бабушка с внучкой (*A* и *C*), т. е. каждая из этих женщин в системе терминов родства может быть одновременно обозначена двумя знаками.

Еще более разительный пример переменной характеристики человека представляют собой личные местоимения 1-го и 2-го лица — *я* и *ты*. Они обозначают говорящего (пишущего) и слушающего (читающего) в процессе общения. Противопоставление говорящего и слушающего и составляет единственный дифференциальный признак для *я* и *ты*. Но один и тот же человек может быть то говорящим, то слушающим, причем много раз даже в ходе одного разговора. Он может выступать в обеих ролях практически одновременно. Поэтому во избежание недоразумений один и тот же участник разговора должен характеризоваться разными знаками-местоимениями: каждый говорит о себе «я», а другой, обращаясь к нему, называет его «ты».

Кстати, эта премудрость мешает детям выучить буквы «я». Вот что рассказывает писатель Л. Пантелеев («Буква «ты»») о том, как он учил читать четырехлетнего Иришу:



«Я, как всегда, показал букву, дал ей как следует ее рассмотреть и сказал:

— А вот это, Иринushка, буква «я».  
Иринushка с удивлением на меня посмотрела и говорит:

— Ты?

— Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я».

— Буква «ты»?

— Да не «ты», а «я».

— Я и говорю: ты.

— Да не я, а буква «я».

— Не ты, а буква «ты»?

— Ох, Иринushка, наверно, мы с тобой немного перучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется: «я».

— Нет, — говорит, — почему не понимаю? Я понимаю.

— Что ты понимаешь?

— Это не ты, а это буква так называется: «ты».

Причина ошибки в том, что Иринushка связывает знак «я» с переменной характеристикой говорящего человека и это мешает ей обозначить этим знаком постоянное свойство вещи (в данном случае буквы).

Впрочем, курьезы с такими переменными характеристиками могут происходить и у людей более зрелого возраста, как, например, в одной польской юмореске:

«Пан Теофиль выехал в Закопане. Через несколько дней его жена в Варшаве получила письмо:

«Пришли мне немедленно твои туфли. Ты спросишь, почему я прошу прислать твои туфли, а не мои. Потому что, если я напишу «пришли мои туфли», ты прочтешь «мои туфли» и подумаешь, что я прошу прислать твои туфли, а не мои. Поэтому я пишу «твои туфли», а ты прочтешь «твои туфли» и поймешь, что я имел в виду мои туфли».

Возможности для дифференциации предметов, представляемые системой, значительно превосходят реальные потребности общества в наименованиях. Поэтому далеко не всегда тот или иной класс предметов, выделяемый в системе, может быть обозначен специальным знаком.

Обратимся снова к терминологии родства. Введем в таблицу еще один дифференциальный признак — «родство по прямой линии».

		Родство по прямой линии	Мужской пол	Ближайшее поколение	Старшее поколение
1	отец	+	+	+	+
2	сын	+	+	+	—
3	дед	+	+	—	+
4	внук	+	+	—	—
5	мать	+	—	+	+
6	дочь	+	—	+	—
7	бабка	+	—	—	+
8	внучка	+	—	—	—
9	дядя	—	+	+	+
10	племянник	—	+	+	—
11		—	+	—	+
12		—	+	—	—
13	тетя	—	—	+	+
14	племянница	—	—	+	—
15		—	—	—	+
16		—	—	—	—

Как видите, словами удалось заполнить лишь 12 строк. Термины родства в 11-й и 15-й строках также существуют в современном русском языке, хотя и менее распространены, чем приведенные в таблице. Особенность этих знаков по сравнению с теми, о которых мы уже говорили, в том, что они состоят не из одного слова, а из целого словосочетания: *двоюродный дед* (для 11-й строки) и *двоюродная бабушка* (для 15-й строки). А специальных терминов родства для 12-й и 16-й строк таблицы в нашем языке вообще нет, хотя в XIX веке еще были употребительны выражения *внучатый племянник* (этот термин подошел бы для 12-й строки) и *внучатая племянница* (для 16-й строки).

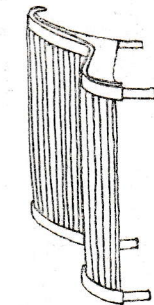
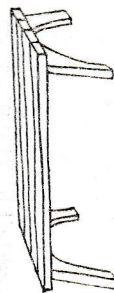
Впрочем, если в схеме родства даже при отсутствии специального термина сравнительно легко «вычислить» соответствующих родственников, то с предметами дело обстоит несколько хуже — иногда их можно «вычислить», но в реальной жизни их просто нет.



Попробуем составить схему для знаков, обозначающих предметы, специально предназначенные для сидения. В схеме учтем три основных дифференциальных признака — «наличие спинки», «наличие подлокотников», «рассчитанное на одного человека»:

		Наличие спинки	Наличие подлокотников	Рассчитано на одного человека
1	кресло	+	+	+
2	скамейка, диван	+	+	—
3	стул	+	—	+
4	скамейка	+	—	—
5		—	+	+
6	(козетка?)	—	+	—
7	табуретка	—	—	+
8	лавка, скамейка	—	—	—

Здесь мы сталкиваемся сразу с двумя сложностями. Первая из них: сравнительно легко справившись с «размещением» кресла, стула и табуретки, мы оказываемся в смущении от того, что не очень четко представляем себе, действительно ли лавка отличается чем-то от скамейки. В самом деле, мы не очень уверены, что здесь противопоставление очень четкое. И поэтому знак *скамейка* может занимать любую из трех строк — 2, 4, 8-ю — или даже все три.



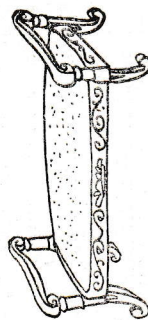
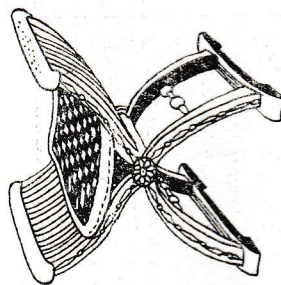
Но обо всем этом речь еще впереди. А вот вторая особенность имеет прямое отношение к нашему разговору о том, что возможности системы превосходят реальные потребности общества в наименованиях. В самом деле, в 5-й и 6-й строках должны находиться наименования предметов, имеющих подлокотники, но не имеющих спинки. Но таких предметов в нашем обиходе как будто бы просто нет. Дело в том, что спинка — более «простое» приспособление для комфорта, чем подлокотники (сравните табуретку, стул и кресло). Поэтому наличие подлокотников при отсутствии спинки кажется нам нелепым. Правда, обращаясь к истории, мы вспоминаем что-то о странных «креслах» шекспировских времен.

Можем вспомнить и разновидность козетки — изящного приспособления для сидения на двоих.

Однако и козетки могли быть разных видов. А как назывались те шекспировские «кресла», мы и подавно не помним.

Итак, «место» для знака в системе есть, а самого знака в языке нет, потому что нет вещи, которую он должен был бы обозначать.

Конечно, трудностей в системном исследовании лексики еще много, но мы пока оставим их и перейдем к рассмотрению системы в грамматике.



## Глава 6

### Сколько я в мы?

(Системность на грамматическом уровне)

Если с помощью слов мы группируем в классы предметы и явления окружающего мира, то с помощью грамматических категорий мы группируем в классы сами



знаки-слова. Вы хорошо знаете классы имен существительных, имен прилагательных, глаголов, классы имен собственных и нарицательных, классы слов единственного и множественного числа, классы слов именительного и родительного падежей, классы подлежащих и дополнений и т. д.

Мы уже познакомились с тем, как проявляется системность языка на фонемном и лексическом уровнях. А есть ли такая системность на уровне грамматическом?

Начертим еще одну таблицу, взяв для классов имен существительных три дифференциальных признака — «одушевленность», «нарицательность», «мужской род»:

	Одушевленность	Нарицательность	Мужского рода
1	Класс слов типа: <i>слесарь, артист, селезень, лев</i>	+	+
2	Класс слов типа: <i>балерина, машинистка, утка, львица</i>	+	-
3	Класс слов типа: <i>Васильев, Петя, Барбос</i>	-	+
4	Класс слов типа: <i>Иванова, Нина, Жучка</i>	-	-
5	Класс слов типа: <i>стул, огонь, героизм</i>	+	+
6	Класс слов типа: <i>табуретка, вода, трусость, кресло, масло, терпение</i>	+	-
7	Класс слов типа: <i>Дон, Минск, Казахстан</i>	-	+
8	Класс слов типа: <i>Волга, Москва, Молдавия, Бел-озеро, Внуково</i>	-	-

Все имена существительные русского языка, имеющие форму единственного числа, обязательно попадают в один из этих восьми классов.

А почему, собственно, нужна особая оговорка «имеющие форму единственного числа»? Но об особенностях категории числа у существительных мы поговорим не-

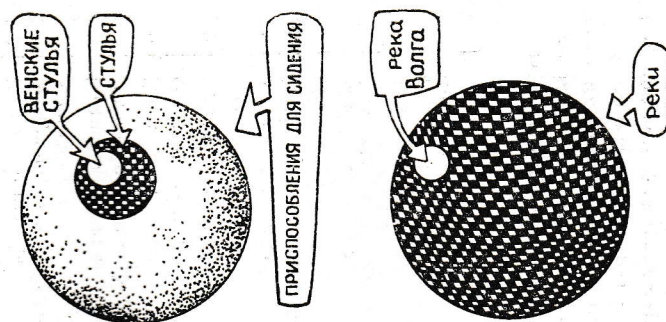
много позднее. А сейчас начнем с того, что грамматика может классифицировать знаки по самым различным их признакам.

Вот важное для системы русского языка противопоставление «нарицательное — собственное». В чем суть такого противопоставления? В чем специфика имен собственных как знаков?

Вспомните наш разговор о стуле. Системность знака *стул* — не только в том, что он отделяет от класса *стул* все, что не имеет данной суммы дифференциальных признаков, но и в том, что он объединяет в этот класс все, что имеет такую сумму. При этом вы, конечно, понимаете, что класс *стул* объединяет гораздо меньше предметов, чем класс *приспособление для сидения*, а класс *венский стул* — меньше, чем класс *стул*, и т. д.

И чем меньше предметов объединяет класс, тем, естественно, больше у него выделяется дифференциальных признаков (так, у *стула* по сравнению с *приспособлением для сидения* выделяются, как мы уже установили, по крайней мере три дополнительных дифференциальных признака: «наличие спинки», «отсутствие подлокотников», «рассчитанное на одного человека»).

Так вот, специфика класса имен собственных в том, что знаки этого класса только объединяют, но не объединяют. Каждый из этих знаков характеризует единственный предмет среди предметов того же класса. Так, Волга выделяется из всех остальных рек, а Петя Иванов — из всех остальных людей мужского пола. И дифференциальных признаков у такого предмета выделяется, естественно, так много, что всех их и не перечислить именно потому, что





данный предмет индивидуален и уникален, неповторим в своей индивидуальности. Попробуйте перечислить все, чем вообще отличается река от ручья или озера, а потом — все, чем одна река, Волга, отличается от другой реки, Дона, и вы увидите, насколько несоизмеримыми окажутся эти два описания.

Что же, в языке нужны и такие знаки — мы должны выделять не только классы предметов, явлений, но и единичные, уникальные предметы, явления. Правда, и здесь что-то не ладится с категорией числа. Ну, хорошо, допустим, что с Волгой все понятно — она одна. А ведь и «Ивановых», и «Петей», и даже «Петей Ивановых» достаточно много. Помните детскую песенку про лентяю Петю: «Мы песенку про Петю Решили вам пропеть, Чтоб не было на свете Ему подобных Петей»? Как же можно говорить о какой-то уникальности «предмета», обозначенного именем собственным, если таких уникальных «предметов» (Петей Ивановых) много? Не нарушается ли при этом сама природа имени собственного как наименования уникального предмета?

Да и с Волгой, если разбираться, далеко не все ясно: «Волга» как название марки автомобиля — явно имя собственное. Но ведь ежедневно сотни таких «Волг» выпускает Горьковский автомобильный завод!

Ну что же, поговорим о категории числа.

Правда, говорить-то о ней особенно как будто бы и нечего: в современном русском языке единственное число противопоставляется множественному числу. Один — не один, куда уж проще!

Однако все зависит от того, что и как считать.

Стол — столы, дом — дома, книга — книги, ученик — ученики, конфета — конфеты, дерево — деревья. Это, так сказать, типичное противопоставление по числам. Но есть классы знаков, где все не так просто.

Вот, например: земля — земли, крупа — крупы, вино — вина, каша — каши. Внешне все так же, как и в только что приведенных примерах. Но только внешне. Ведь земля, крупа, вино, каша — это не предметы, которых может быть один или несколько. Это какая-то масса, которую можно отличить от другой массы (крупа — еще не каша!), но нельзя сосчитать. Однако ведь мы различаем манную, гречневую или рисовую кашу, различаем

сорта крупы, участки земли. И для обозначения того, что сортов, или участков, или порций той или иной массы может быть несколько, мы и употребляем наименование массы в форме множественного числа. Значит, здесь формы единственного и множественного числа употребляются не для того, чтобы «одна» масса противопоставлялась «нескольким» массам, а для того, чтобы один сорт, участок, одна порция массы противопоставлялась нескольким ее сортам, участкам, порциям.

Так что фактически категорию числа имеют не сами названия массы, а названия сортов, участков, порций, т. е. опять-таки то, что можно сосчитать.

Точно так же как и массу, нельзя «сосчитать» свойства или действия, поэтому их названия употребляются только в единственном числе: *радость* (*Его охватила радость*); *сочинение* (*Сочинение стихов давалось ему с трудом*). И только в тех случаях, когда эти слова уже обозначают не свойства или действия, а конкретные объекты, предметы (которые опять-таки можно сосчитать), они могут употребляться и в единственном и во множественном числе, однако это уже, собственно, другие знаки: *Маленькие радости украшали его жизнь. Он писал прекрасные сочинения на свободные темы.*

Иногда формы числа у слова зависят от того, что является «точкой отсчета». Слова *сани, очки, ножницы, вольты, штаны, брюки* обозначают предметы, в которых очень четко выделяются и целое, и его части (несущественно при этом, что эти части не всегда обозначены специальным знаком в языке — таким, например, как слово *штанина*). В этих случаях «точкой отсчета» при наименовании целого предмета служат его части. Поэтому предмет и обозначается как своеобразная совокупность таких частей — естественно, только в форме множественного числа.

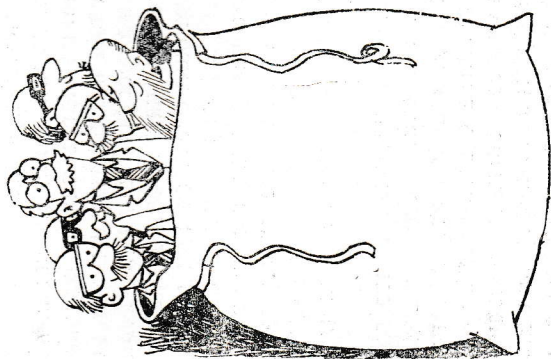
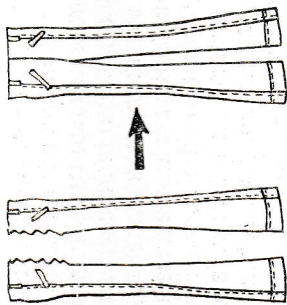
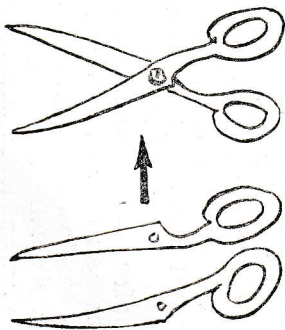
В словах *старичье, бабье, студенчество, детвора* (это так называемые собирательные существительные) мы тоже обозначаем своеобразные совокупности, в которых четко выделяются и целое, и его части. Однако здесь картина прямо противоположная: «точкой отсчета» при наименовании некоторого количества частей служит уже целое, т. е. сама такая совокупность. Поэтому название множества частей употребляется только в форме единственного числа.



Что же касается множества «Волг», а также и «Жигулей», «Москвичей», «Известий» и «Советских спортов», то не нужно забывать, что речь идет о множестве экземпляров автомобилей определенной марки или галереи с данным названием, но не о самих марках или названиях изданий. Не забывайте, что, когда мы говорим «Проехало три «Волги», мы всегда имеем в виду, что проехало три автомобиля марки «Волга».

Как видите, и здесь «нарушение» мнимое. Имена собственные, по существу, и здесь являются обозначениями единичных предметов — марок автомобилей или названий газет.

Объединение же в один класс всех Петя — дело, конечно, возможное (с точки зрения грамматики), но очень уж искусственное. Что общего в индивидуальностях всех людей, которых зовут Петями? Только то, что их зовут Петями. Не слишком много! Да и существенным для общества этот признак, конечно, не является. Поэтому два или три мальчика по имени Петя в одном школьном классе — чисто случайное совпадение, и никаких существенных дифференциальных признаков, кроме того что этих мальчиков зовут Петями, здесь нет (для при-



мера сравните такие нарицательные наименования, как *отличники, комсомолы, активисты, спортсмены* и т. д.).

Конечно, в песенке поется про «подобных Петю». Но и здесь дело не в том, что таких мальчиков-лентяев действительно зовут Петями, а в том, что они — такие же лентяи, как и тот Петя, о котором поется в песне.

Столь же случайным может быть и совпадение фамилий одноклассников. Но и в этом случае, как и в случае, если однофамильцы — братья-близнецы, собственные «именами» служат сочетания фамилии и имени: *Иванов Петя* и *Иванов Вася*. Как видите, и здесь уникальность наименования сохраняется.

Правда, в русских деревнях, где часто у доброй половины жителей одна и та же фамилия, а мода на имена приводит к тому, что в каждом поколении много тезок, встречаются случаи, когда у ребят в классе совпадают не только фамилии, но и имена и отчества. Мне, например, как-то пришлосьзнакомиться с тетрадями в классе, где обучались две Екатерины Ивановны Поповы. На тетрадях красовались такие надписи: «Тетрадь по русскому языку ученицы 5-го класса Поповой Екатерины II». Любопытно, не правда ли?

А в неофициальном общении на помощь приходят прозвища: *Кривой, Кузнец, Колобок* и т. д.

Как видите, и здесь для нормального функционирования имя собственное должно употребляться только в единственном числе, хотя сама грамматическая система дает принципиальную возможность постановки имени собственного во множественном числе, несмотря на известное разрушение при этом самой природы такого имени собственного.

Все эти особенности категории числа показывают, что противопоставление «один — не один» существует далеко не у всех имен существительных. Вот почему нам и понадобилась специальная оговорка к таблице: «имеющие форму единственного числа».

В этой связи я снова хотел бы напомнить, что грамматика классифицирует не сами вещи, но знаки вещей, и потому, хотя в конечном счете сами ее дифференциальные признаки взяты из окружающего мира (как, например, рассматриваемое нами противопоставление «один — не один»), эти признаки приобретают относительно самостоятельный характер и могут накладываться на знаки



совершенно автоматически, даже если некоторым образом нарушают природу вещей, обозначаемых этими знаками.

Вспомните известную игру:

— Сколько концов у одной палки?

— Два.

— У двух палок?

— Четыре.

— У трех палок?

— Шесть.

— У четырех палок?

— Восемь.

— У пяти палок?

— Десять.

— У пяти с половиной палок?

Обычно сразу отвечают:

— Одиннадцать.

Вот она, сила автоматизма нашего мышления, когда мы, думая, отрываемся от реальных вещей, забываем их! Еще одна такая же игра:

— Что означает форма *домá*?

— Много домов, т. е. два и больше.

— А форма *столá*?

— Много столов.

— Форма *ókна*?

— Много окон.

— Форма *мы*?

— Много я!

А как это? Я — это ведь каждый говорит про себя. А каждый из нас — один! Единственный! Неповторимый! Как же может быть много я?

Конечно, выражение «Мы — это много я» — бессмыслица. Но тогда почему же возможна форма *мы*?

В том-то и дело, что для грамматики безразлична индивидуальность каждого я. Ведь даже для лексик, как мы уже говорили, я — это только «говорящий», независимо от индивидуальных особенностей этого говорящего. А для грамматики эти особенности и подавно несущественны. И если говорящий выступает от имени многих, то тем самым он в чем-то стирает различие между собой и этими другими.

Уточнить значение *мы* можно приблизительно так: «Я, говорящий, и другие, действующие вместе со мной и

потому в этот момент в этом смысле такие же, как я».

Так что явная, казалось бы, бессмыслица получает определенный грамматический смысл. И помогает нам в этом системность грамматики.



Иногда в грамматике связь дифференциальных признаков с внешним миром может быть уже настолько отдаленной, что объяснить ее с точки зрения системы современного языка просто невозможно. В русском языке так произошло с категорией рода.

В самом деле, *мужчина, мальчик, Петр, профессор, солдат, слесарь, бык, козел* — названия, обозначающие лиц или животных мужского пола, а *женщина, девочка, Люба, учительница, солдатка, медсестра, корова, коза* — названия, обозначающие лиц или животных женского пола. Здесь понятно разделение слов на мужской и женский род.

А вот в других случаях категория рода — явно пережиточная, чисто формальная, ничего, по существу, не обозначающая. Поэтому наш вопрос, почему *потолок* — мужского рода, *стена* — женского, а *окно* — среднего рода, мы должны оставить без ответа: с точки зрения современного языкового мышления на этот вопрос ответа нет. Но даже такая, чисто формальная категория — тоже обязательная часть грамматической системы русского языка: каждое существительное может присутство-



вать в языке обязательно в форме какого-то определенного рода (если, конечно, оно имеет форму единственного числа: во множественном числе род не различается, поэтому существительные вроде *сани*, *очки* — «никакого» рода).

Завершая разговор о системе грамматических категорий имени существительного, я хотел бы коснуться одной любопытной особенности падежной системы русского языка.

Вы знаете, имена существительные второго склонения мужского рода в именительном и винительном падежах не имеют окончания. Правда, языковеды предпочитают говорить, что эти имена существительные имеют нулевое окончание. Что это, просто желание сказать «понаучнее»? И никакой разницы по существу здесь нет? Оказывается, разница есть. Вспомните, что мы уже говорили о системе.

Почему форма *дому* — форма дательного падежа единственного числа, форма *домом* — творительного падежа единственного числа, а форма *домами* — тоже творительного падежа, но уже множественного числа?

Наивный вопрос, скажете вы: потому что *-у* — это окончание дательного падежа единственного числа (добавим: и этим *-у* форма *дому* отличается от всех остальных); *-ом* — окончание творительного падежа единственного числа (добавим: и этим *-ом* форма *домом* отличается от всех остальных форм этого слова). И так далее. Все просто, ясно и логично.

И в этом стройном ряду только формы именительного и винительного падежей единственного числа остались без окончаний.

Кстати, а почему форма *дом* — это непременно именительный или винительный падеж? Да потому, что у нее нет окончания (добавим: и этим отсутствием окончания *дом* отличается от всех остальных форм слова). Полупутью отметим, что именительный и винительный падежи отличаются друг от друга только по роли слов в предложении: существительное в именительном падеже — всегда подлежащее или сказуемое, а существительное в винительном — всегда дополнение).

А разве отсутствие окончания не есть функционально то же самое, что *-у*, *-ом*, *-ами* и так далее?.. Да, так оно и есть. И здесь все та же системность!

Значит, действительно, понятие нулевого окончания — более точное понятие: оно помогает осознать именительный и винительный падежи в том же ряду, что и все остальные.

Теперь вряд ли вы будете возражать против определения, данного в словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой: «Нулевой — выполняющий определенную лингвистическую (семиологическую) функцию без специального (звукового) выражения, а лишь через противопоставление выраженным (положительным) элементам того же ряда».

По этому поводу известный русский лингвист А. М. Пешковский писал: «Представим себе, что кто-нибудь видел большую толпу людей и описывает разные головные уборы этой толпы. Если в этой толпе у заметного числа людей не было ничего на голове, то он, перечисливши все сорта шляп, картузов, чепцов и так далее, обязательно прибавит, что «были и простоволосые», так что люди безо всякого головного убора составят в его рассказе особую группу на равных правах с другими группами».

Как видите, и грамматический уровень языка характеризуется в принципе теми же закономерностями системного устройства, что и другие, уже рассмотренные нами ранее — звуковой и лексический уровни.

## Глава 7

— Она красная! — Нет, она черная. — Почему же она белая! — Потому что зеленая.

(Многозначность, омонимия, синонимия — и системность языка)

Рассмотрев системность на основных уровнях (ярухах) языка — фонемном, лексическом и грамматическом, вернемся снова к структуре языкового знака. Она вовсе не так проста, как может показаться при первом знакомстве. Ведь язык — это все-таки не светофор!

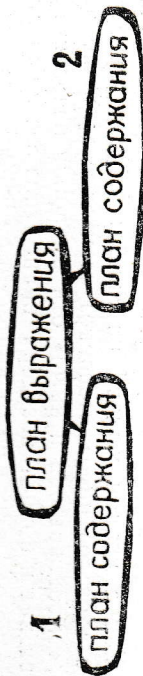
И если в знаках светофора каждому плану выражения строго соответствует один, и только один, план со-



держания (красный цвет — всегда означает «стойте»), а каждому плану содержания соответствует один, и только один, план выражения («стойте» обозначается только красным цветом), то в языке все значительно сложнее.

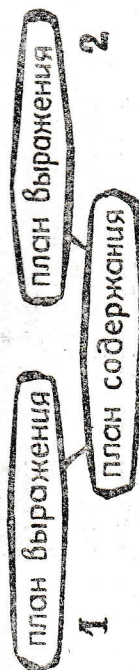
Мы уже встречались со случаями, когда одному плану выражения соответствовали два плана содержания. Вспомните слово *сочинение*, которое обозначает и действие — как в предложении *Сочинение стихов давалось ему с трудом*, и предмет — как в предложении *Он писал прекрасные сочинения на свободные темы*. Вспомните также *Волгу* — реку и «*Волгу*» — марку автомобиля. Подобные случаи называют или многозначностью, или омонимией (о различиях между ними мы еще поговорим).

Схему многозначности или омонимии можно представить следующим образом:



Встречались мы и с противоположными случаями, когда одному плану содержания соответствовали два плана выражения. Так, фонемную, лексическую и грамматическую системы языка мы называли и разными «уровнями» языка, и разными «ярусами» языка. Подобные случаи называют синонимией.

Схему синонимии можно представить следующим образом:



Как видим, между планом содержания и планом выражения языкового знака зачастую нет взаимнооднозначного соответствия (как у знаков светофора). Не случайно это явление называется асимметрией структуры языкового знака.

Есть ли разница между многозначностью и омонимией? Да, есть.

При многозначности между разными планами содержания имеется явная связь.

Иногда мы объединяем в одном слове названия разных классов предметов лишь потому, что у этих классов есть некоторые общие признаки или даже один характерный признак. При этом мы одновременно продолжаем четко различать эти классы.

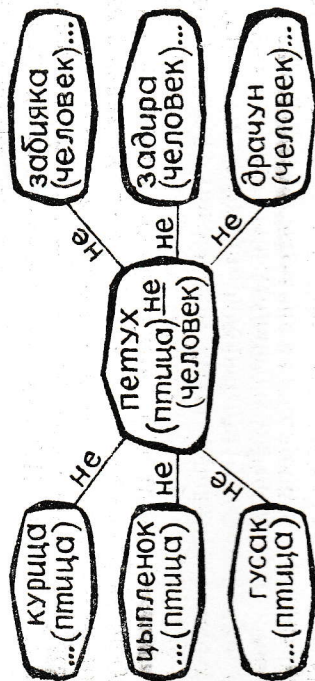
Так, слово *петух* обозначает самца кур, домашней птицы определенного вида. Петухи, сказали бы вы, умеют кричать «кукареку», часто дерутся. И вдруг в этот класс птиц попадает человек, которого мы тоже иногда называем *петухом*. При этом мы прекрасно понимаем, что человек-петух — не птица, что он не имеет перьев, пышного хвоста и гребешка с бородкой. Впрочем, «бородка» у человека может быть, но не такого качества, как у петуха, «хвост» тоже может быть, если человек — студент, и студент не очень старательный. И гребешок и перо могут у него быть, но и это опять-таки не те гребешок и перо. Да, таков уж язык: на каждом шагу — удивительные совпадения, образы, причудливые переплетения значений! Однако вернемся к нашему человеку-петуху. Назвали его так не за то, что он умеет кричать «кукареку» (хотя и это он может уметь делать, и за это могут его иногда сравнивать с петухом). Главное, почему люди, говорящие по-русски, называют человека петухом, — это его поведение, задиристость, которой он напоминает петуха.

Итак, лишь один признак — общий (если не считать, что оба «петуха» — живые существа), но зато какой яркий, какой характерный!





Появившееся новое значение слова (оно называется переносным) начинает жить в языке самостоятельно и вступает в свои особые системные отношения как с другими значениями того же слова, так и с другими словами: тот же *петух* может быть *забиякой*, *задирой*, *драчуном*. У всех этих слов есть общее, хотя есть и особенные оттенки значения (кстати, попробуйте найти их):



Поэтому и возможны такие загадки, как та, которая дала название этой главе: «Она красная? — Нет, она черная. — Почему же она белая? — Потому что зеленая».

Вы, конечно, догадались, что речь идет о смородине. Смородина может различаться и по цвету (в данном случае *белая*), и по сорту (*красная* — *черная*), и по степени спелости (*спелая* — *зеленая*).

Эффект загадки в том, что все эти *разные* по характеру свойства (цвет, сорт, степень спелости) могут быть названы многозначными словами, а одним из значений каждого из них выступает название цвета. Употребленные в одной фразе, эти слова легко вступают в противопоставления именно как названия цветов, что уводит нас от других (правильных для данного случая) значений этих слов и затрудняет отгадку.

Как видите, если говорить более точно, то элементарные системы языка выступают не слова целиком, а их значения, которые могут быть противопоставлены как другим значениям данного слова, так и соответствующим значениям других слов. Разумеется, сейчас мы ведем речь лишь о многозначных словах, но ведь таких слов в языке большинство!

Таким образом, многозначность связана со сложными процессами развития значения слова (о них мы поговорим позднее), поэтому и сами значения «внутри» многозначного слова легко соотносятся друг с другом.

Совсем по-иному обстоит дело с омонимией. В этом случае обозначение двух классов предметов одним и тем же знаком никак не соотносится с признаками этих предметов. С точки зрения современных системных отношений оно случайно.

Так, *лук* как название орудия, представляющего собой изогнутый прут, — очень древнее славянское слово. Сравните названия изогнутых, искривленных предметов: *лука* у седла, *облучок* у саней («Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке» у Пушкина), *излучина* у реки, *лукоморье* (и снова Пушкин: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том»). Сравните также характеристику человека, который не говорит прямо то, что думает, — *лукавый* («лукавый царедворец»).

А слово *лук* как название овоща пришло к нам из германских языков. Как видите, здесь случайное совпадение двух слов, и ничего больше. Совпадать могут не только слова, но даже отдельные формы слова или сочетания слов: слово *пила* произносится одинаково и в предложении «Я вчера *пила* чай», и в предложении «Уже были приготовлены и дрова, и козлы, и *пила*, и топор».

Однаково звучат слово *талия* и сочетание слов *тали я*, что создает особый эффект в четверостишии:

Вдохнула я — ах, *тали я*:

Сто сантиметров моя *талиа*!

Конечно, уж такому *стану*

Стихов своих слогать не *стану*!

Такие остроумные и неожиданные рифмы, основанные на омонимии, называются каламбурными и давно уже используются поэтами.

Вот как писал автор блестящих каламбуров поэт второй половины XIX века Д. Д. Минаев:

Область рифм — моя *стихия*,

И легко пишу *стихи я*;

Без раздумья, без отсрочки

Я бегу к строке от строчки,

Даже к финским *скалам бурым*

Обращаясь с *каламбуром*.



В современной советской поэзии часто обращается к каламбурным рифмам Яков Козловский:

Всю ночь общался ты с вином,  
Но не его вина,  
Что утром в образе свином  
Вернулся от вина.

Обратимся теперь к синонимии. Наука, о которой рассказывается в этой книжке, называется *языкознание*, или *языковедение*, или *лингвистика*. У всех этих трех слов различные планы выражения при совпадении планов содержания.

Точно так же миска для салата может обозначаться в русском языке и словом *салатник*, и словом *салатница*. Слова *языкознание*, *языковедение*, *лингвистика* — синонимы. И слова *салатник*, *салатница* — тоже синонимы. Как видите, совпадение планов содержания у слов-синонимов полное. Точнее, почти полное, потому что, как уже говорилось, язык наш чрезвычайно богат нюансами, оттенками значений. Поэтому «полные» синонимы типа *салатник*, *салатница* встречаются в языке очень редко. Гораздо чаще встречаются синонимы, различающиеся оттенками значений.

Я уже приводил вам ряд таких синонимов: *летух*, *заячья*, *задира*, *драчун*. Оттенки значений слов-синонимов давно уже волновали и ученых и писателей. Так, Денис Иванович Фонвизин, известный вам как автор бессмертной комедии «Недоросль», еще в XVIII веке разъяснял оттенки значения многих русских синонимов в специальном словаре, который называется «Опыт Российского синонимов *ленивый* и *праздный*».

«*Ленивый* бывает, кажется, таковым больше от расположения тела, а *праздный* больше от расположения души. *Ленивый* бонится при деле труда, а *праздный* не терпит самого дела. Трудолюбивый становится иногда *ленивым*, но не *праздным*, ибо *праздный* отроду не бывал трудолюбивым...»

Синонимами могут быть не только слова или сочетания слов, но и целые предложения.

Вы хорошо знаете действительные и страдательные обороты:

*Рабочие строят дом*  
и *Дом строится рабочими*.

Что это, как не синонимические выражения?

Синонимичны определенное придаточное предложение и причастный оборот. Вот два предложения:

*Я взял книгу, которая лежала на столе*  
и *Я взял книгу, лежащую на столе*.

Разве есть разница в планах содержания этих предложений? Как видите, асимметрия языковых знаков — многозначность, омонимия, синонимия — пронизывает весь язык.

Но не кроется ли в этой асимметрии опасность для представления о языке как системе знаков?

В самом деле, если один план выражения соотносится с несколькими планами содержания (т. е. в одном знаке собраны наименования сразу нескольких предметов), то как различать предметы с помощью таких знаков?

В то же время, если один план содержания соотносится с несколькими планами выражения (т. е. несколько разных знаков представляют, по существу, варианты наименований одного предмета), то для чего нужно такое явное излишество в системе знаков?

Конечно, можно объяснить, что трудности, связанные с многозначностью или омонимией знаков, легко «преодолеваются» в контексте. Не случайно, как только слово *пила* оказывается в предложении, сразу же становится ясно, что за «пила» перед нами — существительное или глагол.

Но ведь введение контекста уже связано с «речью» и выходит за рамки лингвистики «языка» (вспомните, что мы говорили о разграничении языка и речи в 1-й главе).

Конечно, можно объяснить, что синонимы придают языку особую гибкость и выразительность. Но почему? За счет чего? И как эта гибкость и выразительность вытекает из понимания языка как системы знаков?

В этой связи я хочу предложить вам еще одну «информацию к размышлению».

Роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» начинается с рассказа о гробовых дел мастере Безенчуке. Именно к нему приходит Ипполит Матвеевич Воробьяннов (будущий «Киса») после смерти своей тещи, мадам Петуховой (той самой, что спрятала бриллианты в



один из двенадцати стульев). Между Ипполитом Матвеевичем и Безенчуком происходит любопытный диалог:

«— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, преставилась. А например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает...

— То есть как это считается? У кого это считается? — У нас и считается. У мастеров. Вот, вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда умирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

— Я — человек маленький. Скажут: «игнулся Безенчук». А больше ничего не скажут, — и строго добавил: — А! не дуба дать или сыграть в ящик невозможно: у меня коллекция мелкая...»

Как видите, Безенчук сообщает изумленному Воробьянинову целый ряд синонимов: *умерла, преставилась, богу душу отдала, в ящик сыграли, приказал долго жить, перекинулся, ноги протянул, дуба дал, игнулся*. При этом Безенчук четко различает особенности значения каждого из приведенных синонимов (пользуясь нашей терминологией, можно сказать, что каждый из синонимов связан с наименованием лишь определенного класса «предметов»: старушек, дворников, купцов или железнодорожных кондукторов).

А теперь ответьте на вопрос: отличаются ли различия между знаками-синонимами от различий между знаками-несинонимами?

Для того чтобы показать, что и здесь, как и в разго-

воре о двух цветках герани, вопрос не такой уж простой, укажу трудности при любом варианте ответа.

Если синонимы действительно каким-то образом различаются своими значениями, то различие должно выражаться дифференциальными признаками, хотя эти признаки будут отражать лишь незначительные различия между классами предметов. При этом:

1) Если эти дифференциальные признаки остаются существенными, что вполне естественно при противопоставлении двух знаков (хотя и близких по значению), то различия между знаками-синонимами оказываются в принципе такого же рода, как и различия между знаками-несинонимами. В самом деле, дифференциальный признак «наличие подлокотников» отражает куда менее значительное различие между классами предметов, чем признак «приспособление для сидения». Однако нам не придет в голову называть синонимами *стул* и *табуретку* только на том основании, что различие в значениях между словами *стул* и *дом* куда более значительное. На каком же основании мы поступаем по-иному со словами *преставилась* и *игнулся* (дифференциальные признаки — «о старушке» и «о маленьком человеке») и называем их синонимами? Не потому ли, что различие в значениях между другими словами, например *преставилась* и *выздоревел*, оказывается куда более значительным? Но не значит ли это, что синонимов как знаков особого рода в системе языка попросту нет? И что все синонимы — это просто разные знаки?

2) Если же признать, что различий между значениями синонимов нет, а есть лишь «оттенки» значений (ведь совпадение значений у синонимов почти полное), то из этого следует, что признаки, различающие синонимы, оказываются несущественными для системы языка (это как будто бы вполне естественное предположение, поскольку совпадение значений у синонимов почти полное). Но из этого, в свою очередь, следует, что эти признаки не могут быть определены как дифференциальные, потому что признаки выделяются как дифференциальные только тогда, когда являются существенными для различия. Поэтому с точки зрения системы придется признать, что, поскольку эти синонимы не различаются дифференциальными признаками, они не являются разными элементами системы.



Итак, если признаки, различающие синонимы, — это обычные дифференциальные признаки, то различия между синонимами ничем не отличаются от различий между знаками-несинонимами. Если же признаки, различающие синонимы, — не обычные дифференциальные признаки, которые и выражают системные отношения, то различий между синонимами с точки зрения системы языка нет. Кажется, оба решения нас не могут устроить, так как оба разрушают представление о синонимии.

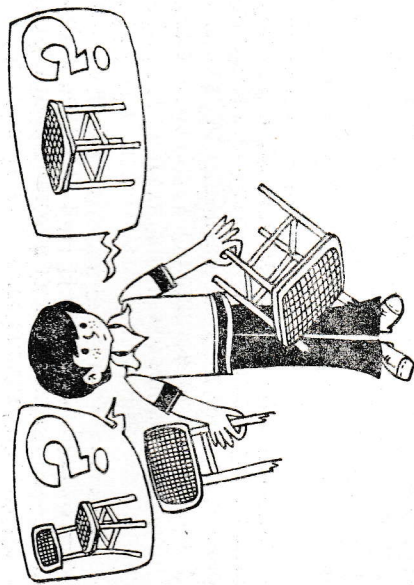
Где же выход?

Очевидно, вопрос об особенностях синонимов лежит за пределами тех основ теории о языке как системе знаков, с которыми вы уже успели познакомиться в этой книжке. Как, впрочем, и многие другие вопросы, которые я или уже ставил по ходу изложения, или мог бы поставить.

В самом деле:

— Почему дифференциальные признаки «имеющий спинку», «имеющий подлокотники» столь важны для различения *стула*, *табуретки*, *кресла*, но мало что дают для различения *скамейки*, *лавки*?

— Почему вы не сразу дали мне полный перечень всех дифференциальных признаков для слова *стул*?



— И что же все-таки будет, если у стула отломать спинку — табуретка или сломанный стул?

— Почему в языке для обозначения одних отношений

родства есть специальные наименования, а для обозначения других — нет?

Очевидно, что перечень подобных вопросов легко можно продолжить.

Как видите, почти половина книги уже прочитана, а вопросов, кажется, не только не убавилось, но, наоборот, даже прибавилось. Ну что ж, я это вам и обещал в самом начале нашего разговора.

На все эти вопросы мы, кажется, не найдем ответа в теории, рассматривающей язык как систему знаков. Как я уже говорил вам, то, что сказал Соссюр о языке, — правда, но это далеко не вся правда о таком сложном явлении, как наш язык.

Для того чтобы узнать и другие стороны правды о языке, попробуем рассмотреть теперь язык не просто как систему знаков, отвлеченную от речи, истории, самого говорящего человека, т. е. от реальной речевой деятельности людей, а, напротив, как обязательно включенную во все это, в реальные процессы речевой деятельности. В этом плане язык сам предстает перед нами как деятельность.

Важно подчеркнуть, что, с одной стороны, мы, включая язык в речевую деятельность, помним, что он — все же система знаков, а, с другой стороны, рассматривая язык как систему знаков в речевой деятельности, помним, что «вид» у этой системы должен быть несколько иным, чем у той системы, которая описана у Соссюра.

Каким же?

Об этом — следующие главы нашей книжки.

А сейчас, включая первую часть книги, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что парадоксальность идей теории языка как системы знаков только кажущаяся. И что основания для бури, вызванной книгой Соссюра в лингвистическом мире, были.



## ЯЗЫК КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Глава 8

Еще одна необычайная история, на этот раз о том, как с легкой руки Евклида люди уже более двух тысяч лет изучают то, чего нет, и в то же самое время это изучение помогает им понять, как устроено то, что есть

(Второе теоретическое введение)

Все было бы очень хорошо, если бы языком как системой знаков не пользовались люди, причем люди разные — и по возрасту, и по знаниям, и по вкусам, если бы язык не был нужен этим людям для общения, причем общения в самых различных, порой совершенно неожиданных ситуациях. Вот тогда бы язык и был той статичной, уравновешенной системой, о которой шла речь в первой части нашей книги.

Конечно, можно представить себе, что такой язык существует как бы сам по себе, а люди — сами по себе. И ситуации, в которых люди общаются, — тоже сами по себе. Тогда, попав в какую-то ситуацию, человек берет какие-то готовые средства из языка и в соответствии со своими способностями, с тем, как этот язык отпечатался в его сознании, «лепит» из этих готовых средств свою индивидуальную и неповторимую речь.

Но, по-видимому, не нужно обладать сильным воображением, чтобы понять, что все это на самом деле происходит не совсем так. Скорее, наоборот, нужно обладать весьма сильным воображением, чтобы представить себе, что это происходит именно так!

Но тогда как же?

Вы знаете о том, что существуют эталоны единиц веса, длины, времени. Что эталон килограмма, например, изготовленный из особого сплава, хранится в специальных условиях, в особом помещении, под стеклом, при постоянной температуре и т. д.

А как быть с языком? Где существует «эталон языка»?

Письменная грамматика и словари?

Но, во-первых, вы, по-видимому, слышали, что бывают языки и без письменности. Так, многие языки народов СССР получили письменность только после Великой Октябрьской социалистической революции. Однако они же и до этого существовали! И люди ими пользовались!

А во-вторых, ни одна, даже самая полная, грамматика, ни один, даже самый полный, словарь не могут учесть все случаи правильного или неправильного применения языка (хотя, разумеется, чем полнее грамматика и словарь, тем больше таких случаев они учитывают).

Реальный язык не существует нигде, кроме как в головах людей, которые говорят на нем. Следовательно, и «эталон» находится в головах людей. Но ведь совершенное естественно, что далеко не всегда то, что является «эталоном» для одного, такой же «эталон» для другого. Сколько раз вам с самого раннего детства приходилось быть свидетелем и участником споров: «А правильно ли говорить так?» Причем обычно каждый из участников такого спора считает, что прав именно он.

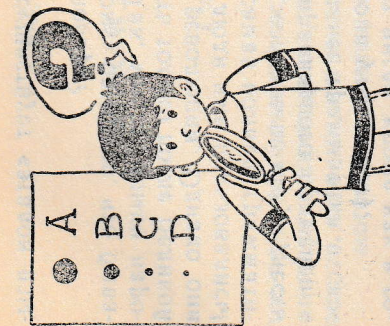
Конечно, с одной стороны, язык народа един и не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего человека. Это обстоятельство и учел Соссюр. Но, с другой стороны, язык не совсем един именно потому, что существует только в головах людей и зависит и от одного, и от другого, и от третьего. Ведь и само общество, в котором используется язык, не сводится к отдельным людям, оно состоит из отдельных людей и без отдельных людей невозможно. Это обстоятельство Соссюр принципиально не учитывал.

Конечно, сам Соссюр и наиболее мудрые из его последователей прекрасно понимали, что рассмотрение языка изолированно от сложных процессов речевой деятельности людей дает очень упрощенное представление о том, что происходит в речевой деятельности на самом деле.

Но как же все-таки соединить эти две, казалось бы, несоединимые особенности языка? И как же быть с «эталоном языка»?

Я вновь приглашаю вас отвлечься на время от особенностей языка. Обратимся к некоторым хорошо известным вам понятиям геометрии.





Итак, что такое точка?  
В школьных учебниках по геометрии много чертежей, на которых помечены точки  $A, B, C, D$ . А на нашем рисунке, что является точкой —  $A$ ?  $B$ ?  $C$ ?  $D$ ?

Конечно, вы сразу же отвергнете  $A$  и  $B$ : какие же это точки? Ведь это настоящие круги! Большого или меньшего диаметра, но круги, а не точки.

Возможно, поколебавшись, вы посчитали бы точкой  $C$  (особенно по сравнению с  $A$  и  $B$ !), если бы рядом не было  $D$ . Но раз рядом  $D$ ... Нет, конечно,  $C$  — это, пожалуй, все-таки тоже круг (хотя и малого диаметра), а не точка! Вот  $D$  — это другое дело!

А собственно, почему? Разве нельзя рядом с  $D$  изобразить какое-нибудь  $E$ , по сравнению с которым  $D$  покажется кругом? Конечно, можно! Особенно если прибегнуть к помощи лупы. А там и за микроскоп можно взяться! Ясно одно: как бы мы ни старались, рядом с «точкой»  $M$ , как бы мала она ни была, всегда в принципе можно изобразить «точку»  $N$ , которая будет еще меньше.

Да, кстати, о каких вообще размерах точки можно говорить? Ведь речь идет не о бытовом понимании точки как тела очень маленьких размеров (например, во фразе *В небе показались точка...*), а именно о строгом математическом понятии точки — вспомните наши разговоры о многозначности слова!

Действительно, математическое понятие точки (как чего-то, что есть и в то же время не имеет ни длины, ни ширины, ни высоты) придумано математиками. Вспомните, что говорится о точке в учебнике геометрии для VI класса под редакцией А. Н. Колмогорова (§ 10): «...«геометрическую точку», не имеющую размеров, нельзя ни увидеть, ни нарисовать. На практике люди имеют дело с телами... Лишь представив себе тело, все размеры которого очень малы, и решившись совсем отвлечься от

этих размеров, приходим к понятию геометрической точки».

Значит, точка как материальное тело не может существовать в принципе! А то, что мы условно изображаем на чертежах как точки, на самом деле что угодно, только не точки! Это лишь знаки точек, но не сами точки.

Итак, в природе такого тела нет. А раз нет точки, то, строго говоря, нет в природе и прямых (как кратчайших расстояний между двумя такими точками), а также нет ни треугольников, ни квадратов (которые ограничены такими прямыми), как нет ни окружностей, ни шаров, ни всех других правильных геометрических фигур и тел, известных любому старшекласснику из геометрии (она называется Евклидовой по имени ее создателя — древнегреческого математика Евклида, жившего в III веке до н. э.).

Нет в природе ни абсолютно твердых тел, ни абсолютно черных тел, которые вы изучаете по физике, ни абсолютно чистых химических веществ, о которых написано в наших учебниках по химии.

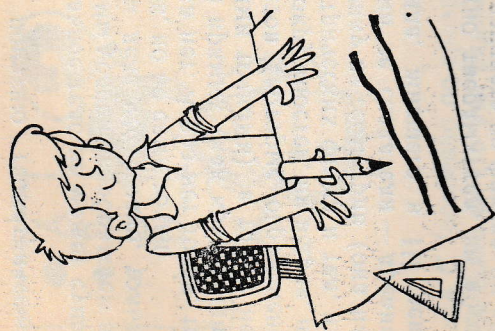
И все-таки в научном анализе мы активно используем эти понятия так, как будто все эти придуманные учебными объектами (не случайно они и называются «идеализированными объектами») существуют на самом деле. Для чего это нам нужно? И в какой мере эти понятия действительно «придуманы»?

Рассмотрим простую математическую задачу. Вам нужно определить площадь спортивной площадки во дворе школы, чтобы решить, что можно на ней разместить. Как вы это делаете? Разумеется, так, как вас учили в школе: перемножив длину на ширину. Допустим, длина площадки оказалась 65 метров, а ширина — 32,5 метра. Так ли уж важно, что при измерении вы ошиблись на несколько миллиметров? И что сами прямые оказались «немногожечко кривыми»? Конечно же, нет!

Вот если такие ошибки измерения допустить на чертеже в тетради, то можно и «двойку» получить! В самом деле, допустим, что вы в тетради начертили что-либо подобное тому, что получилось у «чертежника» на нашем рисунке.

Сможете ли вы выдать эти две линии за отрезки прямых, и к тому же «равные между собой»? Сомневаюсь, хотя и здесь ошибка всего в несколько миллиметров, а





линии лишь «немножечко кривые». Но ведь и в тетради по геометрии без ошибки не обойтись, как бы вы ни старались! Только там эти ошибки могут быть незаметны — ведь они составляют десятые доли миллиметра! Однако и такая ошибка, вполне естественная даже в тетради отличника, совершенно недопустима на предпрятии, изготавлиющем, например, миниатюрные дамские часики. Приборы особой точности ведут счет на микроны. Но и там... Как вы догадываетесь, этот разговор можно вести без конца, он такого же рода, как и разговор о точках *A, B, C, D...*

Значит, дело не в ошибке, как таковой (ее принцип и а льно нельзя избежать!), а в том, насколько она «грубая» и мешает решению данной задачи.

А теперь представьте себе, что геометрия имела бы дело с реальными прямыми, которые на самом деле всегда «немножечко кривые», с реальными прямоугольниками, которые на самом деле всегда «немножечко не прямоугольники», и так далее. Могли ли бы мы строить и доказывать теоремы, выводить формулы, не зная толком, что за формулы мы описываем? Конечно же, нет!

И тогда простейшее измерение площади школьной спортплощадки превратилось бы в задачу невероятной трудности.

Вот поэтому и нужно было допустить, что есть фигуры как бы «в чистом виде», абсолютно точные прямоугольники и круги, кубы и шары. Вот что говорится в том же учебнике геометрии для VI класса: «Можно спроектировать себя: для чего все это делается? Зачем нужно это отвлечение? Ответ заключается в том, что только для абстрактных геометрических фигур можно сформулировать в виде точных и не допускающих никакой двусмысленности ряд простых и весьма важных предложений».

Не так ли и в лингвистике? Теория языка как системы

знаков оказывается своеобразной «Евклидовой геометрией» для реального языка в реальной речевой деятельности людей.

А уж насколько строго мы применяем соответствующие формулы геометрии при реальных измерениях, насколько велики ошибки из-за того, что наши лингвистические «прямоугольники» всегда на самом деле лишь «почти прямоугольники», — это уж совсем другое дело.

Ошибки есть всегда. Но для каждого типа задач есть свои «допуски», свои размеры допустимых ошибок. А с учетом этого почему бы нам не считать каждый раз, что этих «законных» ошибок как бы нет? Ведь тогда исчезнет разница между «точкой» и «почти точкой», между «прямой» и «почти прямой», между «прямоугольником» и «почти прямоугольником».

Вот почему ученые и придумали «идеализированные объекты» — то, чего на самом деле как будто бы и нет, для того чтобы с их помощью описывать, изучать, измерять то, что на самом деле есть, — реальные объекты внешнего мира. Ведь, используя идеализированные объекты, люди устанавливают такой размер ошибки, что разницы между данным реальным и данным идеализированным объектом можно пренебречь.

Идеализированные объекты — это выделенные учеными из реальных вещей закономерности их «в чистом виде». И поэтому идеализированные объекты отражают реально существующие закономерности и служат нам для познания закономерностей окружающего мира реальных вещей.

Таким идеализированным объектом оказывается и тот «язык», о котором писал Соссюр: язык «в чистом виде», так же отвлеченный от реальной речевой деятельности людей, как и Евклидова геометрия от реальных тел.

Интересно, что эту особенность языка «в чистом виде» хорошо видел и понимал и сам Соссюр: «В действительности «состояние» языка не есть математическая точка, но более или менее длинный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих видоизменений остается ничтожно малой... Абсолютное «состояние» определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, как бы ни мало, все же преобразуется, постольку изучать язык статически на практике — значит пренебрегать маловажными изменениями, подобно тому как математи-



ки при некоторых операциях... пренебрегают бесконечно малыми величинами».

Как видите, Соссюр довольно четко различал статическую систему языка и реальное бытие языка в речевой деятельности.

Однако продолжим нашу аналогию с геометрией.

Я уже говорил вам о задаче измерения «почти прямоугольника» спортивной площадки.

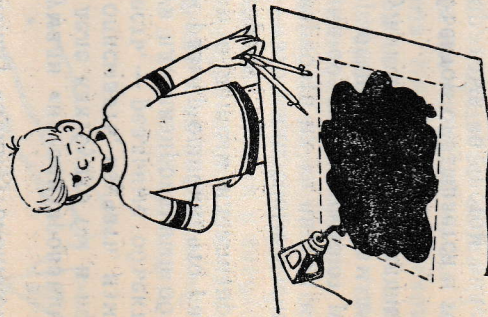
Ну, а если нам нужно определить площадь фигуры, которую даже при большом воображении трудно признать «почти прямоугольником»?

Очевидно, что в данном случае различие между реальным и идеализированным объектами не только нужно замечать (не заметить его просто невозможно!), но и следует учесть при измерении. Именно решение такого рода задач привело в математике к появлению понятия бесконечно малой величины (которое легло в основу дифференциального и интегрального исчисления). При таком подходе идеализированный объект осознается как некоторый частный случай, как предел ряда соответствующих реальных объектов.

Применительно к языку можно в связи с этим сказать следующее.

Рассмотрение языка как статической системы знаков помогает нам понять многие закономерности устройства языкового механизма и решить лингвистические задачи, причем именно такие, которые позволяют рассматривать язык как «почти статическую систему знаков». Я постарался показать эти закономерности и эти задачи в первой части книги.

Однако многие другие закономерности устройства языкового механизма не выявляются, а многие лингвистические задачи не могут быть решены при таком рассмотрении языка. Слишком часто факты реального язы-



ка в реальной речевой деятельности людей при всем воображении не позволяют рассматривать язык как «почти статическую систему знаков». Я постарюсь показать это во второй части книги.

Рассмотрение же реального языка в реальной речевой деятельности людей заставляет рассматривать «язык» Соссюра как частный, предельный случай этого реального языка.

При этом различие между реальным и идеализированным объектами, между реальным языком и «языком» Соссюра оказывается принципиальным различием, и потому сами основы теории Соссюра оказываются непригодными для описания этого реального языка. В самом деле, реальный язык в речевой деятельности людей в отличие от «языка» Соссюра функционирует и в зависимости от внешних условий, и в реальных процессах речи, и как динамическая система. Все это не может не сказаться на самом характере реального языка, на особенностях его устройства по сравнению с устройством «языка» Соссюра.

Конечно, рассматривать четкую систему «языка» Соссюра куда проще, чем реальный, живой язык, постоянно изменяющийся во времени, в головах людей, в разных ситуациях.

Но уж тут ничего не поделаешь! Жизнь языка сложна, и ее нужно принимать и изучать такую, как она есть, — во всей ее сложности.

Поэтому, начав книгу с относительно простой задачи описания языка как системы знаков «в чистом виде», я перехожу теперь к описанию языка в сложных процессах реальной речевой деятельности, где все зыбко, все неустойчиво, все переменн.

Можно ли выявить здесь какие-то ведущие закономерности в устройстве языка? И каковы они?

Вот об этом — следующие главы книги.

## Глава 9

**Есть ли на лице что-нибудь, кроме носа!**

(«Центр» и «периферия» в речевой деятельности)

Особенность реального языка в речевой деятельности людей, о которой сейчас пойдет речь, прямо связана с за-



кономерностями человеческого мышления, человеческой памяти.

Для начала проведем небольшой эксперимент. Возьмите карандаш и бумагу и быстро записывайте первые пришедшие на ум ответы на мои вопросы (впрочем, ответы можно давать и устно).

Приготовились? Итак, быстро отвечайте:

- Часть лица? ...
- Домашняя птица? ...
- Поэт? ...
- Фрукт? ...

Могу вам сразу сказать, что почти все вы дали такие ответы: часть лица — *нос*, домашняя птица — *курица*, поэт — *Пушкин*, фрукт — *яблоко*.

Правильно?

Попробуйте теперь провести этот эксперимент среди своих товарищей, которые не читали этой книги.

Если я угадал ваши ответы и ответы ваших товарищей, то не потому, что я какой-то «ясновидец», отгадывающий чужие мысли, или гипнотизер, заставляющий вас сказать непременно то или иное слово. Я основываюсь на объективных данных науки, которая установила, что среди нормальных носителей русского языка такие ответы дают в среднем 8—9 человек из 10. Следовательно, связь слов поэт — *Пушкин* — это такой же устойчивый факт, характерный для русского языка, как словосочетание *железная воля*, как поговорка *Цыплят по осени считают*, как синонимы *храбрый* и *отважный* или антонимы *холодный* и *горячий*.

Связи слов типа поэт — *Пушкин*, возникающие в нашем сознании, называются ассоциативными связями или просто ассоциациями. Поэтому и сам эксперимент, который я только что с вами провел, называется ассоциативным. На примере ассоциаций видно, как много интересного и важного открывается перед исследователями языка в речевой деятельности.

В самом деле, почему среди частей лица вы называете прежде всего нос? Ведь на лице есть еще глаза, рот, щеки, лоб... А кроме яблок, есть еще груши, сливы, вишни, абрикосы, персики, виноград... Наконец, я не поверю, чтобы вы не знали хотя бы имен Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока, Есенина, Твардовского...

Значит, дело совсем не в том, что мы одно слово знаем, а других не знаем. И все же снова звучат те же ответы: *нос*, *яблоко*, *Пушкин*. Так в чем же дело?

Язык всегда в нас самих, в людях. Некоторые слова, сочетания слов, связи слов являются для нас более важными, мы употребляем их чаще, чем другие, и потому помним их лучше, чем другие.

Конечно, многое в этом сложном механизме, связанном с нашей памятью, с нашими знаниями, опытом, вкусами, привычками, условиями жизни, зависит от случайных, индивидуальных особенностей того или иного человека. Вспомните знаменитое словечко *факт* в речи Семёна Давыдова из «Поднятой целины» или не менее знаменитое произношение слова *принципы* в речи Павла Петровича Кирсанова из тургеневских «Отцов и детей». Разумеется, столь же случайными могут быть и ассоциации. Вот причудливый поток ассоциаций, описанный Константином Паустовским в его замечательном произведении «Золотая роза»:

«Я пишу сейчас в маленьком домике на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт... Он носит красивый вязанный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссуре Эйзенштейна. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате...

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческого подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать название своим вещам. И наоборот...

По-видимому, каждый из вас может вспомнить подобный поток ассоциаций.

Однако общность нашей жизни, нашего мышления, нашей культуры — все то, что делает нас единым коллективом, единым обществом, единым народом, — приводит



к тому, что многие слова, сочетания слов, связи слов, наконец, основы грамматики являются важными для всех членов коллектива. Это-то и делает язык общественным явлением.

Однако следует еще раз подчеркнуть, что степень важности и тех или иных слов, сочетаний слов, грамматических явлений, связей слов и т. д. оказывается различной не только для отдельного человека, но и для общества в целом: что-то более важно (и потому, как правило, употребляется чаще), что-то относительно менее важно (и потому, как правило, употребляется реже).

Так, например, в произведениях А. С. Пушкина слово *красный* (в значении «цвет») употреблено 67 раз, *алый* же — лишь 15 раз, *багровый* — 11, *багряный* — 7, а *малиновый* — только 1 раз (помните, в «Евгении Онегине»: «Кто там в *малиновом* берегу С послем испанским говорит?»).

И дело ведь совсем не в том, что Пушкин хорошо знал слово *красный* и плохо знал слово *малиновый*! Просто в такой большой разнице частот употребления этих слов отражаются определенные закономерности бытия и употребления языка.

Естественно поэтому, что и «на ум» слово *красный* приходит значительно быстрее и легче, когда речь заходит о «цвете вообще», чем слово *малиновый*.

Теперь понятно, почему ассоциация поэт — Пушкин «забивает» все остальные ассоциации: вполне естественно, что, когда речь заходит о поэте вообще, без дополнительных уточнений (например, советский поэт), мы вспоминаем именно Пушкина, нашего самого великого поэта.

Итак, результаты ассоциативного эксперимента хорошо показывают важнейшую особенность системы реального языка по сравнению с системой «языка» Соссюра.

Соссюровский «язык» предстает как система, в которой строго определенное число элементов-знаков. Их может быть три, как у светофора, их могут быть десятки и даже сотни тысяч, как в человеческом языке, но в «выпущенном» из речевой деятельности людей и остановленном во времени «языке» число знаков всегда может быть четко определено и сосчитано. Все знаки в системе равноправны между собой. Все они и составляют важнейшую, «центральную» часть речевой деятельности — язык. Более того, только они и составляют язык.

Все остальное, несущественное для системы, лежит за ее пределами. Это «периферия» речевой деятельности, это речь.

Может ли кто-нибудь из нас придумать новый знак? Или новое сочетание знаков? Конечно, может! Более того, мы постоянно так и делаем, хотя и не всегда это замечаем. Однако эти новые знаки — «речевые» знаки. Они не входят в данную систему «языка» до тех пор, пока не будут приняты всем обществом. Тогда такой знак перестанет быть «речевым» и станет «языковым». Но ведь при этом и сама система станет уже иной, увеличившись на один знак (вспомните наш разговор о *студе* и *си-делке*)!

Таким образом, любой знак может быть отнесен либо к «центру», либо к «периферии». Между «центром» и «периферией», т. е. между языковыми и речевыми знаками, устанавливается, казалось бы, четкая граница.

Однако в реальной речевой деятельности, как показывают ассоциативные эксперименты, даже в самом как будто бы явном «центре» могут быть выделены элементы и «более центральные» (*нос, яблоко, Пушкин*), и «менее центральные» (*щеки, лоб, груша, слива, Лермонтов, Маяковский*). Как видите, «центр» и «периферия», оказываясь, есть в самом языке! Но тогда где же четкие границы между «языком» и «речью»? Их нет, так как «центр» не имеет, да и не может иметь, четких границ, он постепенно переходит в «периферию». Иными словами, язык постепенно переходит в речь. И начинается этот переход в самой, казалось бы, «центральной» части языка. Парадокс речевой деятельности? Пожалуй!

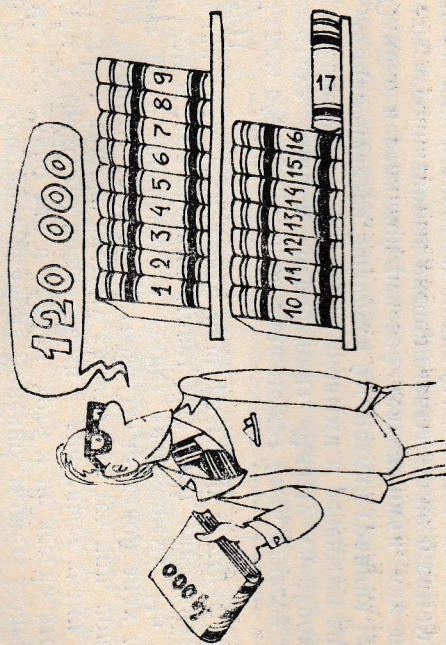
В самом деле, в небольших словарях русского языка для иностранцев может быть и 4000 слов, и 10 000 слов, и 20 000 слов. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова — более 50 000 слов, в четырехтомном «Словаре русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой — более 80 000 слов, а в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» — 120 000 слов.

Где же действительно дана система слов современного русского литературного языка?

В словаре на 4000 слов? Но тогда что представляют собой остальные 116 000 слов из 17-томного словаря? «Периферию» языка?



Или система в 17-томном словаре? Но тогда кому нужен словарь на 4000 слов, если в нем лишь ничтожная часть системы? Какое же представление о системе он может дать?



Очевидно, что сама постановка такого рода вопросов, вполне закономерная для разговора о системе «языка» Соссюра, выглядит по крайней мере весьма странно при разговоре о реальном языке в речевой деятельности.

В словарях-минимумах описывается «наиболее центральная», наиболее употребительная лексика современного русского языка. Чем больше слов в словаре, тем более широко представлены в нем слои более «периферийной» лексики (хотя, как я уже говорил, это вовсе не значит, что такие слова совсем не входят в язык и относятся к речи). Объем словаря зависит от его назначения: рассчитан ли он на людей, которые не знают русского языка, или на людей, для которых этот язык является родным, рассчитан ли он на широкие массы читателей-неспециалистов или на сравнительно узкий круг специалистов и т. д. Давайте поставим и такой вопрос:

— Можно ли говорить на языке, совсем не зная его?  
— Конечно же, нет, — скажете вы и будете совершенно правы.  
— А можно ли говорить на языке, зная его не полностью?

— По видимому, да, — согласитесь вы, особенно если я напомним, что и в этой книге вам встретилось хотя бы несколько слов русского языка, до этого вам неизвестных. Хотя кто же усомнится в том, что русский язык вы знаете?

Но ведь отсюда следует еще один парадокс: человек может всю жизнь говорить на языке, не зная его полностью! На самом деле это не такой уж парадокс: мы все чего-то в языке не знаем, и в этом ничего удивительного нет!

Другое дело, что взрослые люди знают язык лучше, чем маленькие дети, что высокообразованный человек знает язык лучше, чем человек малокультурный. Иными словами, и здесь тоже не жесткое противопоставление: «знает — не знает», а гибкое: «лучше знает — хуже знает».

И дошкольник, недавно научившийся говорить, и убежденный сединой академик-филолог говорят на одном и том же русском языке. И в этом своя логика: ведь язык — это общественное явление. И люди должны общаться независимо от того, насколько хорошо они знают язык. (Конечно, чем лучше они знают язык, тем лучше для общения. Но об этом поговорим немного позднее.)

Каждый может вспомнить случаи, когда он должен был признать, что этого слова не знает, а это слово знал, да забыл. Кстати, и «самые центральные» знаки могут выпадать из памяти даже у самых образованных людей, особенно у пожилых. Это явление называется модным нынче словом «склероз».

До сих пор мы говорили об относительности понятий «центра» и «периферии», о зыбкости их разграничения применительно к знакам-словам. Обратимся теперь к особенностям дифференциальных признаков, определяющих место знака в системе.

Если в системе сосюровского «языка» все признаки знаков жестко делились на существенные для системы, т. е. дифференциальные, и несущественные для системы, т. е. интегральные, то в системе реального языка каждый признак может быть «более дифференциальным» или «менее дифференциальным» и, следовательно, «менее интегральным» или «более интегральным».

Вернемся к вашему объяснению слова стул.  
Почему вы не сразу смогли перечислить все диффе-



рениальные признаки стула? Не потому ли, что более общий, родовой признак «приспособление для сидения» оказался более «центральный», чем более конкретные, видовые признаки «имеющий спинку», «не имеющий подлокотников», «рассчитанный на одного человека»?

Но и среди этих, видовых, признаков более «центральным», чем остальные, оказывается признак «имеющий спинку». Так, при объяснении того, что такое *стул*, признак «имеющий спинку» указывают в среднем 15 человек из 200, а признак «рассчитанный на одного человека» — лишь 1 человек из 200.

Почему так происходит? Может быть, потому, что противопоставление стула и табуретки как видов мебели более резкое и частое в быту, чем противопоставление стула и скамейки. Может быть, потому, что спинку видно, а признак «рассчитанный на одного человека» — абстрактный, его при взгляде на пустой стул не увидишь. Может быть, и то, и другое вместе — не будем гадать! Факт остается фактом.

Важнее сейчас другое: даже среди самых, казалось бы, явных дифференциальных признаков выделяются как «более центральные», так и «менее центральные» признаки.

Но чем менее «центральными» оказываются дифференциальные признаки, тем менее четко они различают классы предметов. Не так ли случилось с различением классов *скамеек* и *лавочек* по признаку «имеющий спинку»? Этот признак как будто бы и различает эти классы, и в то же время...

Чем дальше от «центра», чем ближе к «периферии», тем реже встречаются и специальные названия-знаки. Я уже говорил вам о сиденьях без спинки, но с подлокотниками. Еще показательнее в этом отношении наименования родственников. *Папа, мама, сын, дочь, внук, дядя, тетя* — это «самый центральный» круг названий. Здесь все ясно. С *золовкой, деверем, невесткой, шурином* разобратся уже сложнее. Я не уверен, что каждый из вас легко объяснит, что это за родственники. А как назвать дядю вашей бабушки? А брата мужа вашей троюродной сестры? А племянника этого брата мужа вашей троюродной сестры? А жену этого племянника брата мужа вашей троюродной сестры?

Подобные отношения родства можно перечислять без конца. Да такие, что уже трудно наглядно представить себе, кто кому кем приходится. Не зря же народная мудрость припала для таких родственников единую емкую формулу «седьмая вода на киселе». И просто, и выразительно!

Обратите внимание еще вот на что: чем «периферийнее» наименование, тем более громоздко оно выражается. В этом тоже есть своя логика. Но и об этом — позднее. Итак, чем «центральнее» наименование или дифференциальный признак, тем лучше мы его знаем, помним, осознаем. И наоборот: чем «периферийнее» явление, тем хуже мы его знаем, тем чаще забываем, тем реже вспоминаем — таковы уж особенности человеческой памяти. Чем дальше к «периферии», тем больше таких явлений. И вот уже не ощущается разницы между «не знаю» и «знаю, но забыл».

Как видите, между «центром» и «периферией» нет четкой границы. Именно поэтому можно составлять словари и на 4000 слов, и на 10 000 слов, и на 20 000 слов, и на 50 000 слов, и на 80 000 слов, и на 120 000 слов. Каждый раз граница того, что мы включаем в «центр», определяется на основе каких-то признаков, существенных для решения именно данной задачи. Поэтому каждый из этих словарей хорош по-своему и лучше всего подходит для решения именно тех задач, на которые он рассчитан.

Самыми сложными для анализа в системе оказываются «пограничные» случаи. Вот один из них. Как я уже говорил, если одному плану выражения соответствуют два плана содержания, то перед нами либо омонимия (*лук*), либо многозначность (*летух*). Различие между омонимией и многозначностью простое: если связи между планами содержания нет, перед нами — омонимы, если такая связь есть — перед нами разные значения одного слова. Опять-таки все четко и ясно.

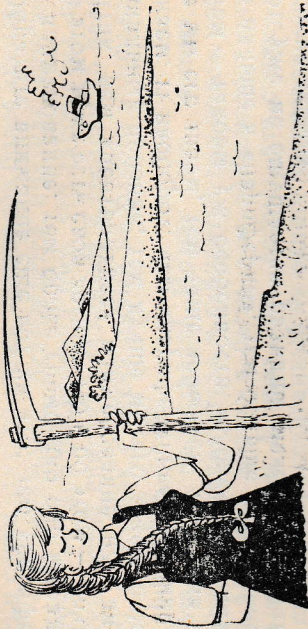
А как быть со знаком *коса*?

Если между разными планами содержания знака *коса*: *коса* у девушки, *коса* на море, *коса* в сарае — связь ощущается (ведь все эти предметы — «косые!»), то это разные значения одного слова. Если же такой связи нет, то это разные слова — омонимы.

Вся сложность как раз и заключается в том, чтобы оп-  
ределить, есть ли такая связь, или ее нет. Вот вам



«пограничный» случай, когда в результате сложных исторических процессов перед нами — не совсем омонимы, но и не совсем многозначное слово. Как видите, и здесь четкие, казалось бы, границы на самом деле оказываются основательно размытыми.



Сколько кос?

Итак, с одной стороны, выявленная Соссюром и его последователями жесткая система отношений между знаками, жесткое разграничение «центра» и «периферии», с другой стороны, большая или меньшая «центральность» («периферийность») самих знаков, их дифференциальных признаков, многочисленные «пограничные» случаи. Эти закономерности вступают в речевой деятельности в острое противоречие, которое и приводит к тому, что люди «забывают», что на лице есть еще что-нибудь, кроме носа.

## Глава 10

Как колпак лампы стал арбузиком

(Начальное знакомство с ситуацией)

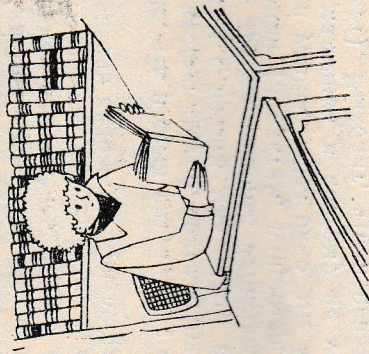
Вторая особенность реального языка в речевой деятельности людей тесно связана с тем, что язык — важнейшее средство человеческого общения. А общение всегда происходит в определенных условиях, в определенных ситуациях.

Соссюровский «язык» предстает как система, каждый элемент которой свободен, независим от условий употребления.

Однако в реальной речевой деятельности знаки языка не просто употребляются в тех или иных ситуациях, но живут в памяти людей в связи с ситуациями, типами ситуаций, в которых они были использованы.

Сами же ситуации можно обозначать и более подробно, развернуто (например, с помощью нескольких знаков), и более кратко, свернуто (например, с помощью одного знака).

Допустим, что мы описываем ситуацию, изображенную на рисунке.



Как можно ее описать? Очевидно, многими способами.

Например:

- Мальчик читает книгу.
- Мальчик сидит за столом.
- Мальчик, который сидит за столом и читает книгу, наверное, любит читать, потому что он весь погружен в чтение и ничего не замечает.

Если вас спросят, кто здесь изображен, вы скажете:

- Это мальчик.
- Или еще проще:

— Мальчик.

Как видите, обозначение мальчика в данной ситуации может быть самым различным — от развернутого описания деталей ситуации, как-то характеризующих этого мальчика, до простого указания на то, что он есть.



А может быть, это юноша? Или лучше просто назвать его *человек*? Или *он*?

А может быть, наоборот, попытаться описать его точнее, назвать его (если мы знаем, что имя этого мальчика Васа, а фамилия его Иванов)?

В этой ситуации можно по-разному описать и книгу. Например:

— Книга, которую читает мальчик, наверное, очень интересная.

— Книга, которую читает мальчик, в твердом переплете.

Можно описывать также стул, стол, прическу мальчика, его костюм, осанку и многое другое. И все это можно описать очень кратко, а можно и очень-очень подробно. Вспомните, как вы в школе сочиняли подобные «рассказы по картинке» и мучились: с чего начать, какими словами описать то, что вы увидели, и что еще можно сказать, если учитель недоволен краткостью вашего рассказа.

Добавим еще, что и сама ситуация, с одной стороны, является лишь частью другой, более «крупной» ситуации (например, рядом с нашим мальчиком сидят и другие мальчики), а с другой стороны, включает в себя более «мелкие» ситуации (допустим, например, что, заглядывая в комнату с улицы, через окно, мы можем увидеть только голову мальчика и поэтому не можем сказать, что же он делает). Выходит, что и ограничение ситуации для описания, и выбор в этой ситуации предмета, который описывается, и степень детализации описания, и,



наконец, выбор самих средств описания — все это весьма относительно и может варьироваться до бесконечности.

Конечно, ситуации, так же как и предметы, могут объединяться в классы по каким-то одним, существенным для такого объединения признакам и независимо от других, несущественных для такого объединения признаков. Так, можно представить себе класс ситуаций «Мальчик читает книгу».

Или более «узкий», конкретный, видовой по отношению к нему класс ситуаций «Мальчик читает книгу «Три мушкетера» — и так далее, без конца. И чем больше признаков выделяется в ситуациях какого-нибудь класса, тем меньше ситуаций объединяет такой класс (вспомните наш разговор о реке Волге и о венских стульях).

Понятно, что класс ситуаций «Мальчик читает книгу» складывается из множества подклассов ситуаций:

— Мальчик читает книгу «Три мушкетера».

— Мальчик читает книгу «Тимур и его команда».

— Мальчик читает книгу «Евгений Онегин».

И т. д.

По-видимому, нетрудно представить себе и, напротив, более «широкий», абстрактный, родовой по отношению к нему класс ситуаций «Мальчик, который что-то делает», который складывается из подклассов:

— Мальчик читает книгу.

— Мальчик играет в футбол.

— Мальчик учит уроки.

— Мальчик спит.

И т. д.

Можно представить себе и еще более абстрактный, родовой класс ситуаций «Человек», который состоит из подклассов: «Мальчик», «Девочка», «Юноша», «Девушка», «Мужчина», «Женщина» и т. д.

Как видите, любой знак обозначает не просто отдельный предмет, действие, признак, но (так же как и сочетание знаков) целую ситуацию, фиксируя наше внимание на наиболее существенной, с нашей точки зрения, ее части. Поэтому мы в дальнейшем вместо разных терминов «знак» и «сочетание знаков» усложним употребление единый термин «наименование». Нетрудно понять, что наименованием ситуации может быть и слово, и предложение, и целый рассказ.

При этом одни и те же наименования могут относить-



ся к ситуациям разного типа, хотя, естественно, каждое из наименований связывается прежде всего с наиболее вероятными ситуациями (как в примере с ассоциацией поэт — Пушкин).

Так, книгу обычно читают, хотя она может быть использована и как пресс, и как твердая подставка, на которой можно что-либо писать, и даже как «орудие», которым можно забивать гвозди, хотя это, разумеется, варварство, да и неудобно, но что поделаешь, если под руками нет ничего более подходящего, а идти искать молоток — лень!

Так что ситуации с книгой могут входить и в один класс с ситуациями с молотком (как предметом, которым можно забивать гвозди), хотя все-таки гораздо привычнее им быть в одном классе с ситуациями с газетами и журналами (как предметами, которые можно читать).

Поэтому, когда мы говорим, что стул — это то, на чем сидят, мы учитываем лишь наиболее типичное, наиболее привычное, наиболее закрепленное в обществе использование стула и не принимаем во внимание многие другие, значительное менее типичные возможности его использования. Тем самым мы незаметно для себя стираем различие между понятием «стул — это то, на чем сидят» и понятием «стул — это почти всегда то, на чем сидят» — совсем как в понятиях точки, прямоугольника, круга!

Но ведь тот же стул может быть и поверхностью, на которой разложена игра, — в этом случае стул используется «почти как стол». На спинку стула можно повесить одежду — в этом случае стул используется «почти как вешалка». Ножами стула можно колоть орехи и даже запирать дверь в класс.

И наоборот, усевшись на стол, вы превращаете его в «почти стул». То, что стол не предназначен специально для сидения, означает лишь то, что на нем сидеть не принято, но не отменяет самой возможности такого сидения, чем вы — что греха таить! — иногда и пользуетесь.

Так, благодаря некоторым, не очень типичным, «периферийным» ситуациям размываются границы между, казалось бы, явно различными наименованиями. Опять эта «периферия», вторгающаяся в строгие и четкие построения «центра»!

В наиболее привычных для нас ситуациях формируются и представление о стуле как о предмете, имеющем четыре ножки. Действительно, почти все стулья, которые нас окружают, имеют четыре ножки. Но разве невозможно стулья на трех ножках? И даже на одной? Причем я говорю сейчас о целых стульях. Но ведь падаются на глаза и стулья с отломанными ножками тоже!

Наконец, в зависимости от конкретной ситуации мы учитываем и важность того или иного дифференциального признака. Даже само осознание признака как дифференциального или интегрального тоже зависит от ситуации.

Вы говорите:

— Дайте мне, пожалуйста, стул. Я устал стоять. Вам могут дать табуретку. Вы поблагодарите и сядете, возможно даже и внимания не обратив, на что именно сели. Так как слово *стул* в вашей просьбе — просто случайно попавшее на язык подходящее слово! Для вас главным было попросить «предмет для сидения». И признак «имеющий спинку» не играл здесь принципиальной роли.

А вот другая фраза в весьма похожей, но все-таки чуть-чуть иной ситуации:

— Дайте мне, пожалуйста, стул, а то у меня спина устала.

Вот тут и выступает на первый план (или, как говорят языковеды, актуализируется) важный дифференциальный признак «имеющий спинку». Вместо стула хозяин может предложить вам кресло, но вряд ли табуретку.

Таким образом, каждый раз в зависимости от ситуации мы имеем в виду только какую-то часть из массы дифференциальных признаков, имеющих в системе языка. И лишь установка на «полное толкование» заставляет нас попытаться исчерпать до конца весь набор дифференциальных признаков данного наименования.

Итак, поиски дифференциальных признаков слова *стул* осложняются не только тем, что среди этих признаков есть и более «центральные», и менее «центральные», как указывалось в предыдущей главе. Сама «центральность» дифференциального признака определялась нами до сих пор лишь применительно к наиболее типичным («центральным» же!) ситуациям. Но, как видите, са-



ма большая или меньшая «центральность» дифференциального признака не есть какой-то абсолютный показатель. Она относительна и может значительно изменяться, варьироваться в зависимости от характера ситуации.

Наши знания о наименованиях складываются на основе нашего прошлого опыта, на основе множества ситуаций, в которых нам встречалось это или подобное ему наименование. Наиболее типичные ситуации обобщаются и связываются с «правилами употребления» данного наименования. Эти правила шифруются в речевой деятельности многих людей и многих поколений. Так cementируется языковое единство народа и закрепляется преемственность его культурно-исторических традиций.

Что же касается самого наименования, то оно не может существовать в абсолютном отрыве от многочисленных связей с многочисленными ситуациями (как более типичными, так и менее типичными), существующих в группах людей, которые говорят на данном языке. Эти связи могут быть сильнее или слабее, могут быть выражены в наименовании более развернуто или менее развернуто, но они всегда есть. Без них наименование — лишь идеализированный объект сосюрковского «языка».

Необходимо подчеркнуть и еще одно обстоятельство. Знания и опыт каждого человека не могут не совпадать в главном со знаниями и опытом других людей, говорящих на этом же языке. Однако в чем-то, в деталях, знания и опыт разных людей не могут не различаться. Путь познания языка сложен и противоречив. И даже простейшие знаковые системы усваиваются на самом деле не так просто.

Вот лишь один пример.

Мы уже говорили о системе светофора. Чего уж проще! Но, оказывается, и здесь наш опыт натывается на реальные противоречия и сложности бытия этой системы знаков.

В одной из радиопередач «Юмор в коротких штанишках» маленький мальчик отвечает взрослому на их вопросы о значении сигналов светофора: «Красный свет — это когда стоят. Зеленый свет — это когда идут. А желтый свет — это когда бегут».

Откуда взялось у мальчика такое представление о значении желтого света? Оно сложилось на основе его

собственного небольшого опыта, на основе тех ситуаций, которые он наблюдал. Этому мальчику все три сигнала показались «основными» сигналами, регулирующими поведение людей. По-своему он очень наблюдателен и совершенно прав.

Конечно, взрослые объяснят ему «правильное» значение желтого света, и мальчик точнее соотнесет свои личные знания, свой личный опыт со знаниями и опытом других людей. Но всегда ли подобное соотнесение так происходит? Ведь человеческий язык — это все-таки не светофор! Связь наименования с ситуацией, особенности группировки ситуаций в классы, зависимость от ситуации роли того или иного дифференциального признака — все это и создает принципиальную возможность для возникновения переносных значений слов (вспомните наш разговор о *петухе*). Перенос значений встречается в нашей речевой деятельности значительно чаще, чем это принято думать. Мы делаем его часто бессознательно.

Вот как описал это явление выдающийся языковед прошлого века А. А. Потебня: «Я указываю начинающему говорить ребенку на круглый матовый колпак лампы и спрашиваю, что это такое. Ребенок много раз видел эту вещь, но не обращал на нее внимания. Он ее не знает, так как сам по себе следы впечатлений не составляют знания. Я хочу не столько того, чтобы он дополнил свои впечатления новыми, сколько того, чтобы он объединил прежние и привел их в связь со своим запасом сознанных и приведенных в порядок впечатлений. На мой вопрос он отвечает: «Арбузик». Тут произошло познание посредством наименования, сравнение познаваемого с прежде познанным. Смысл ответа таков: то, что я вижу, сходно с арбузом».

Назвавши белый стеклянный шар арбузом, ребенок не думал приписывать этому шару зеленого цвета коры, красной серединки с таким-то узором жилок, сладкого вкуса; между тем под арбузом в смысле плода он разумел и эти признаки. Из значения прежнего слова в новое вошел только один признак, именно шаровидность».

Подобных ситуаций в нашей речевой деятельности — великое множество, мы сталкиваемся с ними постоянно. И каждый раз, выбирая наименование в подобных ситуациях, мы решаем творческую задачу.

Как видите, в понятие «ситуация» должно включаться



## Сколько времени в настоящем времени!

(Речевая деятельность и системность языка)

Если после нашего разговора о роли «центра» и «периферии» и о роли ситуации в реальном бытии языка снова обратиться к исходным посылкам теории Соссюра, то окажется, что и «внешнее», и «речь», и «динамика» — все то, что выводилось за рамки «языка», на самом деле, властно вторгаясь в само устройство его, мешает реальному языку быть той системой знаков, о которой говорил Соссюр.

Попробуем рассмотреть особенности системы языка с учетом сложных закономерностей его реального бытия в речевой деятельности.

Начнем с самых «центральных» явлений языка — с грамматики, которая, казалось бы, менее зависит от всего «периферийного» и ситуативного.

В этой главе речь пойдет об одной из самых сложных и динамических грамматических систем — о системе глагола. В самых, казалось бы, ясных и простых категориях времени и вида глаголов в современном русском языке скрыты необычайная сложность и богатство грамматических идей.

Сначала — о времени.

Итак, что такое время глагола?

Элементарный вопрос! Время бывает настоящее, прошедшее и будущее.

Настоящее время описывает... А в самом деле, что описывает настоящее время? То, что действие совершается в настоящем времени? Получается довольно забавное определение. Правда, его можно уточнить: настоящее время обозначает действие, происшедшее в момент речи (*стучу*). Соответственно прошедшее время обозначает действие, происшедшее до момента речи (*стучал*), будущее — после момента речи (*постучу* или *буду стучать*).

Итак, мы, кажется, нащупали различительный признак, от которого зависит построение системы времен русского глагола. Этот признак — отношение действия к моменту речи.

Только то, что описывается, но и тот, кто это описывает, т. е. говорящий, так как его опыт, знания активно влияют на то, каким будет наименование. Поэтому и говорят, что язык имеет творческий характер. Разумеется, все это относится не только к речи детей, хотя именно в речи детей «от двух до пяти», осваивающих язык, это творчество проявляется наиболее резко и бросается в глаза.

Конечно, далеко не все переносные значения, возникающие в той или иной ситуации, признаются всеми и закрепляются в языке, но многие из них входят в язык. Так, человек может назвать не только *петухом*, но и *медведем*, *орлом*, *лисой*, *зайцем*, *ослом*, *жирафом*, *кабаном*. *Перо* может авторучке выполнять ту же роль, что и гусиное перо во времена Пушкина, а *чернила* в нем — совсем не черными, а красными. *Класс* в школе может быть не только первым, шестым или десятым, но и интересным, шумным, хорошо успевающим (это уже о ребятах), а также светлым, уютным и чистым (а это — о комнате, в которой идут занятия).

Заканчивая разговор о ситуации, я хотел бы подкрепить еще одно, очень важное обстоятельство.

Выбор в ситуации предмета, который описывается, — это детализация описания и, наконец, выбор самих слов описания не просто определяются желанием говорящего.

Язык есть важнейшее средство человеческого общения. В любом разговоре участвуют как минимум двое. Оба они влияют на построение речи, так как говорящий всегда заинтересован в том, чтобы его речь определенным образом воздвиглась на слушающего. И этого он должен построить ее соответствующим образом. Значит, слушающий — не пассивно воспринимающее лицо. Он уже сам своим присутствием и участием в разговоре, своими репликами и даже мимикой, не говоря уже о знаниях, опыте и т. п., составляет то, что мы строим свою речь так, чтобы она была для слушающего понятной, интересной и убедительной. Тем самым слушающий активно участвует в построении сообщения, и потому в понятие «ситуация» нужно включить, кроме того, что описывается и кто это описывает, также и то, для кого это описывается.



## Сколько времени в настоящем времени!

(Речевая деятельность и системность языка)

Если после нашего разговора о роли «центра» и «периферии» и о роли ситуации в реальном бытии языка снова обратиться к исходным посылкам теории Соссюра, то окажется, что и «внешнее», и «речь», и «динамика» — все то, что выводилось за рамки «языка», на самом деле, властно вторгаясь в само устройство его, мешает реальному языку быть той системой знаков, о которой говорил Соссюр.

Попробуем рассмотреть особенности системы языка с учетом сложных закономерностей его реального бытия в речевой деятельности.

Начнем с самых «центральных» явлений языка — с грамматики, которая, казалось бы, менее зависит от всего «периферийного» и ситуативного.

В этой главе речь пойдет об одной из самых сложных и динамических грамматических систем — о системе глагола. В самых, казалось бы, ясных и простых категориях времени и вида глаголов в современном русском языке скрыты необычайная сложность и богатство грамматических идей.

Сначала — о времени.

Итак, что такое время глагола?

Элементарный вопрос! Время бывает настоящее, прошедшее и будущее.

Настоящее время описывает... А в самом деле, что описывает настоящее время? То, что действие совершается в настоящем времени? Получается довольно забавное определение. Правда, его можно уточнить: настоящее время обозначает действие, происшедшее в момент речи (*стучу*). Соответственно прошедшее время обозначает действие, происшедшее до момента речи (*стучал*), будущее — после момента речи (*постучу* или *буду стучать*).

Итак, мы, кажется, нащупали различительный признак, от которого зависит построение системы времен русского глагола. Этот признак — отношение действия к моменту речи.

не только то, что описывается, но и тот, кто это описывает, т. е. говорящий, так как его опыт, знания активно влияют на то, каким будет наименование. Поэтому и говорят, что язык имеет творческий характер. Разумеется, все это относится не только к речи детей, хотя именно в речи детей «от двух до пяти», осваивающих язык, это творчество проявляется наиболее резко и бросается в глаза.

Конечно, далеко не все переносные значения, возникшие в той или иной ситуации, признаются всеми и закрепляются в языке, но многие из них входят в язык. Так, человек может назвать не только *петухом*, но и *медведем*, *слоном*, *лисой*, *зайцем*, *ослом*, *жирафом*, *кабаном*. *Перо* в вашей авторучке выполняет ту же роль, что и гусиное перо во времена Пушкина, а *чернила* в нем — совсем не обязательно черного цвета: они могут быть и синими, и зелеными, и красными. *Класс* в школе может быть не только первым, шестым или десятым, но и интересным, шумным, хорошо успевающим (это уже о ребятах), а также светлым, уютным и чистым (а это — о комнате, в которой идут занятия).

Заканчивая разговор о ситуации, я хотел бы подчеркнуть еще одно, очень важное обстоятельство.

Выбор в ситуации предмета, который описывается, степень детализации описания и, наконец, выбор самих средств описания не просто определяются желанием говорящего.

Язык есть важнейшее средство человеческого общения. В любом разговоре участвуют как минимум двое. И оба они влияют на построение речи, так как говорящий всегда заинтересован в том, чтобы его речь определенным образом воздвигла на слушающего. А для этого он должен построить ее соответствующим образом. Значит, слушающий — не пассивно воспринимающее лицо. Он уже своим присутствием и участием в разговоре, своими репликами и даже мимикой, говоря уже о знаниях, опыте и т. п., заставляет говорящего строить свою речь так, чтобы она была для слушающего понятной, интересной и убедительной. Тем самым и слушающий активно участвует в построении наименования, и потому в понятие «ситуация» нужно включить, кроме того, что описывается и кто это описывает, также и то, для кого это описывается.



Но тогда что же такое момент речи? Что он обозначает?

Каковы его границы? Почему возможно употребление одних времен вместо других? Попробуем разобраться во всем этом.



ПРОШЛОЕ                      НАСТОЯЩЕЕ                      БУДУЩЕЕ

Для выяснения того, что такое момент речи, еще раз обратимся к математике.

Как видите, математика активно проникает в языкознание. И не только для статистических подсчетов или машинного перевода. Математические идеи можно применять и для объяснения языковых закономерностей. Разумеется, можно, как и во всякой другой науке, попытаться объяснить все без помощи специального языка математики, но уж слишком это будет громоздко, не глядя на и, главное, не так точно. Еще один парадокс: слов живого языка оказывается недостаточно, чтобы объяснить явления этого живого языка.

Итак, начнем. Проведем числовую ось. Условимся, что это — схематичное изображение объективного времени. Естественно, что один конец оси будет уходить в бесконечное прошлое (обозначим его  $-\infty$ ), другой — в бесконечное будущее (обозначим его  $+\infty$ ).

Отметим на оси какую-то точку  $O$ , от которой поведем отсчет прошедшего времени влево, а будущего времени — вправо. Что, эта точка и есть момент речи?

$-\infty \dots \dots \dots 0 \dots \dots \dots +\infty$

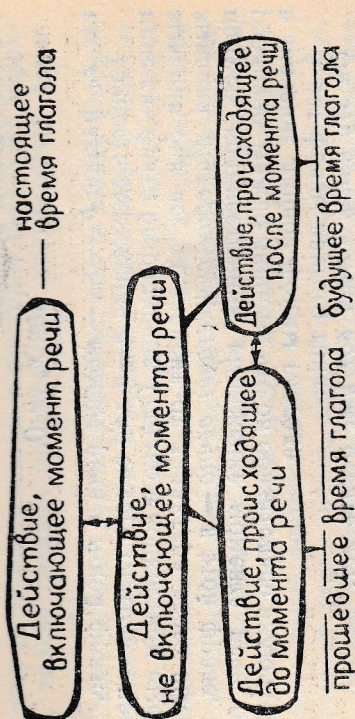
Прежде чем ответить на этот вопрос, попытаемся по-лучше разобраться, как момент речи различает времена.

Настоящее время включает момент речи, а прошедшее и будущее — не включают его. Вот первое разделение, при котором настоящее время противопоставляется сразу двум «не настоящим» временам.

Когда моей дочери было три года, она как-то заявила: «Ко мне завтра котенок в кроватку полез». Нужно было сказать «вчера», но для нее важно, что не сейчас, не сегодня. Такие случаи, когда дети с трудом осваивают разницу между «вчера» и «завтра», уже научившись различать «сегодня» и «не сегодня», довольно типичны. Ребенок уже прекрасно отличает настоящее время от прошедшего и будущего, но еще не очень хорошо различает эти «не настоящие» времена.

Однако в языке есть и такое различие. И мы прекрасно его чувствуем, разбираемся, относимся ли «не настоящее» время к действию, которое проходило до момента речи, или оно относится к действию, которое произойдет после момента речи.

Из схемы видно, как противопоставляются значения времен русского глагола:



Вернемся теперь к нашей числовой оси. Нанесем на ней неподалеку от  $O$  точки  $a$  (слева) и  $b$  (справа).

$-\infty \dots \dots \dots a \quad 0 \quad b \dots \dots \dots +\infty$

Точка  $a$  обозначит ту границу, справа от которой в данной конкретной фразе начинается момент речи, сле-



ва же от нее действие происходит до момента речи. Точка  $b$  обозначает ту границу, слева от которой кончается момент речи, справа же от нее действие происходит после момента речи.

Рассмотрим теперь разность  $b - a$ . Может ли она быть равна 0? Иными словами, могут ли точки  $a, b, O$  совместиться на числовой оси в одной точке  $O$ ?

Математически да. Физически же момент речи всегда имеет какую-то длительность, хотя и ничтожную. В таких случаях математики используют теорию пределов.



Если мы на нашей числовой оси будем располагать точки  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  (а также  $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ ), каждая из которых будет ближе к  $O$ , чем предыдущая, то разность  $b - a$  в данном случае может стать как угодно малой. Пользуясь математической символикой, можно записать это следующим образом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0,$$

где  $x_n$ , равное  $b_n - a_n$ , — момент речи в  $n$ -ой фразе. Точность выражения  $b - a$  для самого глагола в принципе как будто безразлична. Однако в конкретном высказывании она всегда зависит от характера этого высказывания. *Материя существует вечно* — в этой фразе, например, количественное выражение момента речи различно. Важно лишь то, что он обязательно включается в значение данной формы глагола.

А вот фразы другого типа:

Он эту книгу читает вот уже десять лет.

Он эту книгу читает уже целый месяц.

Он эту книгу читает только два часа.

Он эту книгу читает только десять минут.

Он эту книгу читает всего лишь минуту.

Он эту книгу читает только несколько секунд.

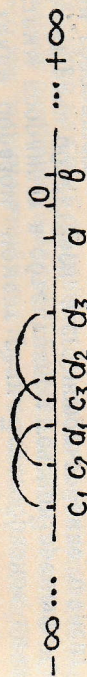
Момент речи (выражение  $b - a$ ) определяется для каждой следующей фразы все точнее, а значение его каждый раз не больше времени, указанного в этой фразе.

Посмотрим, как обстоит дело с прошедшим временем: Он эту книгу читал целый месяц и неделю назад закончил.

Он эту книгу читал целый месяц и вчера закончил.

Он эту книгу читал целый месяц и только что, сию минуту, закончил.

Здесь важно прежде всего то, что действие чтения (обозначим его длительность выражением  $d - c$ ) всегда происходило до момента речи, а когда именно — в общем-то безразлично.



Однако, чем ближе к моменту речи происходит действие во фразе, тем точнее определяется сам этот момент речи, тем меньшим может быть выражение  $O - a$  для данной фразы.

Будущее похоже на прошедшее тем, что действие не включает в себя момент речи. Но происходит это действие, как уже говорилось, не до, а после момента речи. Поэтому рассуждения здесь в принципе такого же характера, только граница момента речи определяется выражением  $b - O$ .

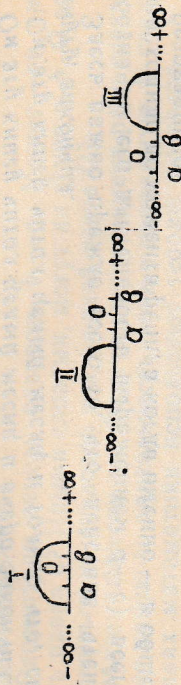
Остается еще раз подчеркнуть, что в самом глаголе отмечается лишь факт совершения действия в момент речи, до или после него. Длительность же момента речи (мгновенный он или продолжительный), а также точное количественное определение этого момента речи для каждой категории времени с точки зрения системы безразличны, однако они оказываются существенными в реальных процессах речевой деятельности.

Момент речи — нечто, хотя и объективно существующее, однако же такого рода, что говорящий каждый раз может им распорядиться по своему усмотрению.

В выражении *Вот сейчас, сию секунду, кладу* момент речи соотношен непосредственно с действием при описании данной ситуации; в выражении *Вот сейчас, сию секунду, положил* «отсчет» момента речи, возможно в той же самой ситуации, передвигается говорящим и выводится за рамки действия в будущее по отношению к этой ситуации; в выражении *Вот сейчас, сию секунду, положу*



«отсчет» момента речи выводится в прошлое по отношению к ситуации. В принципе возможны такие описания одного и того же события:



Таким образом, момент речи — своеобразное начало системы координат в объективном течении времени. Сам момент речи объективен, а его использование зависит от воли говорящего.

Вот теперь становится понятным и такое явление, как употребление одного времени вместо другого. Мы резко передвигаем момент речи в прошлое, ведя отсчет от него по этой новой системе координат, и получается настоящее вместо прошедшего.

Сравните пример из школьного учебника: «Возвращаюсь я вчера вечером с вокзала домой, иду темной улицей, тороплюсь. Вдруг вижу: у ближайшего фонаря что-то темнеет». В принципе этот пример, кажется, такого же свойства, как *Кладу сию секунду* вместо *Положил сию секунду*, только произвол говорящего в нем не столь очевиден.

Интересно, что, хотя перенос момента речи вообще-то возможен не только в прошлое, но и в будущее время, обычно он употребляется лишь при описании действия в прошлом. Да это и понятно: прошлое уже было, мы восстанавливаем все детали события, вспоминаем его. Зато как будет происходить действие, мы не знаем, а можем только предполагать.

Итак, грамматическое значение времени явно связано с объективным действием, но не непосредственно, а как бы косвенно. И поэтому может использоваться каждый раз вновь в зависимости от конкретной ситуации. Да это и удобнее. Важен в этом случае всегда относительный отсчет, так как для абсолютного отсчета нет, да и не может быть, постоянной точки начала координат.

Любопытно, что категория времени в таком развернутом виде существует только в «центральной», изъяти-

тельном наклонении. В других, «периферийных» наклонениях русского глагола система времен иная, значительно менее полная.

Это объясняется особенностями значения наклонений. Глагол повелительного наклонения может стоять только в форме будущего времени (и это понятно: ведь просьбу, совет или приказание можно выполнить только после того, как их выскажут). Глагол сослагательного наклонения стоит в форме прошедшего времени: ведь такой глагол показывает действие, которое является условием для совершения другого действия. То, что говорится, — уже своеобразный итог: *Если бы ты купил билеты, мы бы поехали в кино*. Кстати, такое условное прошедшее время чистенько употребляется в будущем, но уже как пожелание, т. е. по значению смыкается с повелительным наклонением. Сравните-ка: *Если бы ты купил завтра билеты, мы бы поехали в кино*. Здесь своеобразное сочетание прошедшего и будущего времен из-за своеобразного сочетания форм сослагательного наклонения и значения повелительного наклонения. Могло ведь быть: *Купи завтра билеты, и мы тогда пойдём в кино*.

Как видите, категория времени, во-первых, отражает закономерности окружающего нас мира; во-вторых, достаточно универсальна, так как любое действие может быть (и, с другой стороны, обязательно должно быть) привязано нами к определенному времени — для этого нужно лишь определить его отношение к моменту речи; в-третьих, достаточно гибка, так как сам момент речи каждый раз заново может определяться нами в зависимости от конкретных обстоятельств и цели сообщения.

Разговор о русском глаголе будет явно неполным, если не коснуться категории вида.

Многое вам знакомо из учебника. В основу видовых различий русского глагола положен признак завершенияности действия. Причем в глаголе несовершенного вида не отрицается возможность завершения действия. Она лишь не указывается точно. *Я читал* — действие могло быть и законченным, а могло остаться и незавершенным. Мы не знаем этого. Для каких-то сообщений это и не важно. Сравните:

*Я долго читал эту книгу и только вчера закончил.*

*Я долго читал эту книгу и никак не мог ее закончить.*

*Я указываю на длительность действия, и только.*



В первом случае я говорю о законченном действии, во втором — о незаконченном. Однако не вид глагола указывает на это.

Выходит, что отношения между видами несколько иного качества, чем отношения между временами. Несвершенный вид шире по значению. Совершенный вид уже и точнее: он указывает на то, что действие завершено обязательно.

Интересно соотношение вида и времени. Совершенный вид не может употребляться в форме настоящего времени: раз мы сообщаем в момент речи о законченности действия, значит, оно либо завершилось уже в прошлом до момента речи (иначе мы не смогли бы говорить о нем как об уже закончившемся), либо завершится в будущем, т. е. после момента речи.

Что же касается настоящего времени, то вспомните наше выражение  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Физический мо-

мент речи — величина, не равная нулю, но близкая к нулю. Действие в настоящем времени включает этот неуловимый момент речи, но не сводится к нему. И поэтому действие, если и протекает в момент речи, не может быть завершено в нем: это завершение будет обязательно или до, или после момента речи, но тогда это опять-таки или прошедшее, или будущее время — мы опять вернулись к началу нашего рассуждения, совсем как в сказке про белого бычка!

Ясно, что форма настоящего времени совершенного вида оказалась в настоящем времени ненужной и «за надобностью» передана будущему:

Время \ Вид	Прошедшее	Настоящее	Будущее
Несовершенный	делал ↓	делаю ↑	буду делать
Совершенный	сделал		сделаю

Любопытно, что с категорией вида связана еще одна категория — категория кратности. Глаголы «однократные» (образованные с помощью суффикса -ну-: прыгнул,

прыгну) показывают, что действие случилось или случилось один раз, и потому оно завершено. Эти глаголы — совершенного вида. Глаголы «многократные» (образованные с помощью суффиксов -ваа-, -иваа-: запрыгивал, запрыгиваю) показывают, что действие происходило или происходит несколько, много раз. При этом видно, что оно протекало (или протекает) долго, но специально не указано, что оно завершено. Эти глаголы, следовательно, несовершенного вида. Еще раз заметьте особенность значения несовершенного вида: завершенность действия не отрицается, а просто специально не указывается.

И если рассматривать все вместе — систему времен, видов, кратности, то станет ясно, насколько богата гамма грамматических значений русского глагола, способных выразить тончайшие оттенки характера действия.

Как видите, даже в таком, одном из самых «центральных» языковых явлений, как видо-временная система глагола, реальное бытие языка в речевой деятельности существенно уточняет сословские представления о характере системности в языке.

Так, развернутые и четкие отношения трех времен имеют лишь в «центре» глагольной системы — в изыскательном наклонении. В более «периферийных» — повелительном и сослагательном — наклонениях такие отношения времен уже перестают быть актуальными. Отсюда — «свернутость» системы времен в этих наклонениях.

Что же касается значения главного дифференциального признака, различающего времена русского глагола, — признака «момент речи», а также осмысления его в реальном бытии языка, то все это оказывается относительным, изменяющимся в зависимости от типов ситуаций и неразрывно связанным с динамической (а не статической!) природой языка.

## Глава 12

### Жил-был поп, толокенный лоб

(Начальное знакомство с актуальным членением)

Мы рассмотрели некоторые особенности проявления системности в реальном бытии языка в речевой деятельности.



Но подход к языку «от речевой деятельности» не только позволяет уточнить некоторые закономерности языка, открытые Соссюром и его последователями, он дает возможность изучать и другие интереснейшие свойства языка.

Однако, прежде чем подробно говорить об этих возможностях, рассмотрим одно любопытное явление, которое заинтересовало лингвистов еще в XIX веке и которое имеет самое непосредственное отношение к нашему разговору.

Вот самая простая фраза:

*Петров завтра едет в Москву.*

Если я попрошу вас разобрать ее по членам предложения, вы можете даже обидеться — уж очень примитивным может показаться такое задание на фоне наших серьезных разговоров о языке. И тем не менее давайте попробуем! Итак:

*Петров* — подлежащее,

*едет* — сказуемое,

*завтра* — обстоятельство времени,

*в Москву* — обстоятельство места.

Что это значит?

А это значит, что в предложении говорится о Петрове (раз *Петров* — подлежащее), о том, что Петров делает (эту информацию нам сообщает сказуемое *едет*), уточняют это действие Петрова соответствующие обстоятельства (места и времени).

— И так вы разберете эту фразу всегда?

В ответ вы пожмете плечами с недоумением:

— А как же еще?

И будете совершенно правы, но лишь с точки зрения чисто формально-грамматической. Если же мы учтем при анализе ситуацию, а также наши замечания о «центре» и «периферии», то внезапно картина резко изменится.

В самом деле, давайте попытаемся рассмотреть лишь некоторые из возможных типов ситуаций, в которых произнесена данная фраза.

Ситуация первая. Вы сидите в классе, ничего не подозревая. Вдруг входит староста и с порога сообщает:

— Петров завтра едет в Москву!

Что такое? Все для вас так ново. И так неожиданно. Петров! А что с Петровым? — лихорадочно соображаете вы по мере произнесения этой фразы. Он завтра едет.

Куда же? Ага, в Москву. Вот оно в чем дело! Разумеется, это все проносится в вашем мозгу так стремительно, что вы не успеваете отдать себе отчет в том, о чем и как вы думали, слушая эту фразу. О чем говорится в этой фразе? Да о Петрове же! А что Петров делает (или собирается делать)? Едет. Когда? Завтра! А куда? В Москву! Ага! Самое главное, самое интересное староста припрятал к концу фразы. И даже ударением выделил с особым удовольствием: *в Москву!*

Впрочем, что же в этом особенного? Фраза как фраза. И ударение нормальное. И «о чем говорится...», и «что делает...» тоже обычное: подлежащее — сказуемое — обстоятельство. Ситуация как ситуация!

Ситуация вторая. Вам уже стало известно, что Петров завтра куда-то уезжает, только он не говорит куда, а хитро улыбается. И вот на пороге — староста. Он сразу сообщает:

— Петров завтра едет... в Москву!

Изменилось ли что-нибудь по сравнению с первой ситуацией?

Да, конечно, ведь вы уже все хорошо знаете, что Петров завтра куда-то едет. Это вам уже известно. Поэтому староста первую часть фразы произносит скороговоркой — это лишь начало. Зато потом можно сделать паузу, насладиться своим превосходством, своей «старостой» информированностью. И только после этого выложить: *в Москву!* И ударение здесь сильнее. И выразительнее. Хотя, впрочем, что же изменилось в том, «о чем говорится...» и «что делает...»? Да ничего! Так при чем же здесь ситуация? Не торопитесь!

Ситуация третья. Вы сидите в классе. Ваш класс — лучший в школе. И кто-то из вас поедет в Москву. Но кто? Это еще не решено. И вот на пороге — староста. Он кричит:

— *Петров* завтра едет в Москву!

О чем говорится здесь? О том, что кто-то завтра едет в Москву. Что говорится о том, кто завтра едет в Москву? То, что он — *Петров*. Смотрите-ка! И ударение не там. И смысл не совсем тот. Вот какая ситуация! Но пойдем дальше.

Ситуация четвертая. Начало (про класс и про старосту) можно опустить — оно такое же, как и в предыдущих ситуациях. Только неизвестно вам, каким об-



разом Петров отправится в Москву: поедет на поезде, полетит в самолете? Или, может быть, полывает на пароходе? Ваши сомнения снимают фразу:

— Петров завтра *едет* в Москву.

Ага! Не лениг, не плывет, а едет. Ну что ж, ясно, «о чем» говорится в этой фразе: о том, как отправится Петров завтра в Москву.

Ситуация пятая. Начало опять-таки такое же. Про Петрова тоже все известно, кроме одного — когда же он наконец уедет?

— Петров *завтра* едет в Москву.

Не через неделю, не через месяц, а *завтра*. Ну что ж, подождем до завтра!

Итак, одна и та же, казалось бы, фраза, а какую разную информацию она несет в зависимости от ситуации. Впрочем, это не совсем точно. Изменяются не сами сведения: они везде одинаковые — кто, что делает, когда едет, куда едет. Изменяется то, какие из этих сведений оказываются главными, наиболее актуальными для данной ситуации. Не случайно каждый раз именно то слово, которое сообщает главные сведения, особо выделяется ударением (такое ударение иногда называется логическим). Ведь ради этого слова, собственно, и произносится вся фраза.

Не верите? Тогда еще один маленький эксперимент. Давайте от этой фразы оставим в ответах только по одному знаменательному слову.

Первая ситуация в этом отношении особая. Там нет никаких вопросов. Там все ново и все важно. Поэтому начнем со второй ситуации:

— Куда едет Петров?

— В Москву.

В третьей ситуации:

— Кто едет в Москву?

— Петров.

В четвертой ситуации:

— Каким образом Петров отправляется в Москву?

— Едет.

В пятой ситуации:

— Когда Петров едет в Москву?

— Завтра.

Впрочем, можно поэкспериментировать и дальше. На-

пример, для второй ситуации переберем другие возможные варианты ответов:

— Куда едет Петров?

— Завтра.

Или еще лучше:

— Куда едет Петров?

— Петров.

Прямо по пословице: «В огороде бузина, а в Киеве дядька»!

Как видите, в правильном однословном ответе всегда оказывается то слово, которое в полном ответе выделяется логическим ударением. Именно это слово оказывается во фразе самым главным. Именно о том, что оно обозначает, идет речь в данной ситуации. Именно ради него строится полная фраза.

Таким образом, наряду с постоянным выделением двух главных членов предложения — подлежащего и сказуемого, о которых вам много говорят в школе (их часто называют грамматическими подлежащим и сказуемым), в любой фразе выделяются также еще два компонента: то, что уже известно говорящим в данной ситуации, «о чем идет речь», и то новое, что об этом известном сообщается (их называют психологическим и подлежащим и сказуемым или, чаще, темой и ремой). А сказуемое высказывания на тему и рему называется актуальным членением.

Итак, тема — это нечто данное, а рема — нечто новое в высказывании. Рема — самый важный элемент высказывания. Как вы только что убедились, она должна сохраняться при любых преобразованиях, сокращениях высказывания. В ряде случаев тема совпадает с группой подлежащего, а рема — с группой сказуемого, как во второй ситуации. В других случаях они не совпадают, тогда, чтобы выделить рему, мы прибегаем к особому, логическому ударению, как в третьей, четвертой и пятой ситуациях.

Что же касается первой ситуации, казалось бы самой простой, то на самом деле здесь все несколько сложнее. Ибо во всех остальных рассмотренных нами ситуациях фраза *Петров завтра едет в Москву* была ответом на какой-то немой или явный вопрос, она была в середине разговора, и потому в ней уже было более или менее ясно, что относится к известному, теме, а что — к ново-



му, рема. Фраза же в первой ситуации — начало разговора. Здесь все ново. Все — рема. Кстати, именно поэтому подчас трудно начать разговор, произнести первую фразу. Потом уже «само пойдет», а вот начало...

Как быстрее проскочить через это отсутствие первоначальной темы? Как быстрее достичь привычной ситуации, когда новое можно спокойно нанизывать на уже известное?

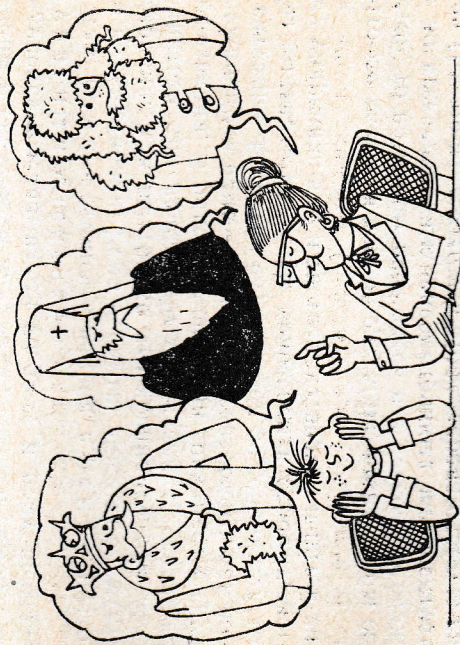
Одним из способов быстрее введения темы являются назывные предложения. Обратите внимание: они обычно стоят в начале рассказа.

Вот фраза из вашего учебника:

*Лесная глушь. Речная глина. Мхи. Папоротник. Дым костров.* (Павел Антокольский).

Освобожденные от дополнительных, уточняющих характеристик, содержащие лишь указание на то, что это «о чем говорится» имеется, есть, присутствует, назывные предложения помогают быстро ввести читателя «в курс дела». А что значит — ввести в курс дела? Это значит дать представление о теме, чтобы потом сообщить о ней что-то новое — рему.

Не случаен и традиционный, отработанный веками зачин в народных сказках:



*В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.*

И сразу нарисована начальная картина, «экспозиция» — есть царь. Он есть (жил-был). Как он жил-был, пока неясно, да и ни к чему об этом говорить в первой же фразе — сказка вся впереди. Вот в ней мы и узнаем все подробнее. И жил он в определенном месте — неизвестно в каком, *в некотором*, — ну что же, для начала и этого достаточно.

Подобным образом начинает свои сказки и Пушкин, хорошо усвоивший приемы народного творчества от своей няни, Арины Родионовны:

*Негде, в тридевятом царстве,  
В тридесятом государстве,  
Жил-был славный царь Дадон.*

(«Сказка о золотом петушке»)

А в других сказках речь уже не о царях:

*Жил-был поп,  
Толоконный лоб.*

(«Сказка о попе и о работнике его Балде»)

*Жил старик со своего старухой  
У самого синего моря.*

(«Сказка о рыбаке и рыбке»)

Заметьте — везде жил, жил-был. И только! Но ведь это, по сути дела, мало чем отличается от назывного предложения. Как он жил? Что он делал? Об этом — впереди.

Вернемся к нашей фразе из первой ситуации:

— *Петров завтра едет в Москву.*

Мог ли староста в этой ситуации сказать так:

— *В нашей классе есть Петров. Он завтра едет в Москву.*

Допустим, что мог. Но ведь тогда первое предложение — такого же типа, как «В некотором царстве (= *в нашем классе*) жил-был (= *есть*) царь (= *Петров*)!»! Тогда во втором предложении он (т. е. Петров) — тема, а *завтра едет в Москву* — рема.

А теперь вернемся к нашему вопросу: мог ли староста в этой ситуации сказать так? Маловероятно! Потому что мы и без него хорошо знаем, кто учится в нашем классе. Предложение *В нашем классе есть Петров*, уместное в разговоре с посторонними, звучит совершенно нелепо в



разговоре с одноклассниками. То, что в нашем классе есть Петров, — это та тема, которая хорошо известна в этой ситуации участникам разговора еще до разговора.

Поэтому, строго говоря, во фразе *Петров завтра едет в Москву*, даже если это первая фраза в разговоре, не все — рема. Петров — это не какой-то там царь, который жил-был в тридцатом государстве! Петров — наш одноклассник. И мы его хорошо знаем.

Значит, когда староста только еще произнес фамилию: «Петров...», — мы уже сразу стали думать: «А что Петров? А что с Петровым?» Для нас *Петров* сразу же стал темой, а все последующее в этом предложении, то, что сообщается о Петрове, — ремой.

Актуальное членение впервые было открыто и изучено в предложении. Поэтому вначале и говорили об актуальном членении предложения. Однако в последнее время мы все более становимся ясным, что актуальное членение наименования является одним из самых основных, фундаментальных принципов, определяющих устройство и функционирование языка в речевой деятельности.

## Глава 13

### Дом, который построил Джек

(Развертывание и свертывание при построении наименования)

Чтобы создать наименование, говорящий должен сделать выбор из ряда возможных наименований, определить, какое из них окажется лучшим в данной ситуации.

Можно ли изучить этот процесс выбора? Ведь он протекает в нашем сознании и скрыт от непосредственного наблюдения.

Конечно, во всех деталях этот процесс выбора наука сейчас представить себе не может. Однако наблюдения и эксперименты позволяют обнаружить некоторые принципиально важные для нашего разговора особенности.

Прежде всего о структуре значения любого наименования. Это значение всегда двучленно, состоит из двух частей — родовой и дифференцирующей (уточняющей).

Родовая часть наименования относит его к некоторому сравнительно «крупному» классу, противопоставляя всем другим «крупным» классам, а дифференцирующая часть выделяет в этом классе некоторый подкласс, проводя более тонкую дифференциацию значения.

Вспомните наше определение стула: «Стул — это предмет, специально предназначенный для сидения, имеющий спинку, не имеющее подлокотников и рассчитанное на одного человека».

Это определение стула — тоже наименование предмета. И в этом наименовании легко выделяются родовая часть («приспособление для сидения»), отличающая стулья и другие приспособления для сидения от всех прочих предметов: кровати, стола, шкафа, дома, забора, реки, неба и др., и дифференцирующая часть (комбинация признаков «имеющий спинку», «не имеющий подлокотников», «рассчитанный на одного человека»), отличающая стул от других приспособлений для сидения.

Дифференцирующая часть превращает все наименование в видовое по сравнению с родовой частью. Сравните: родовое наименование — *приспособление для сидения*; видовое наименование — *имеющее спинку, не имеющее подлокотников и рассчитанное на одного человека*.

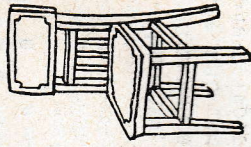
Очевидно, что при определении стула вы можете дать как более общее, родовое наименование, так и более конкретное, видовое. Точнее, видовых наименований может оказаться несколько, с разной степенью конкретности.

Вот перед вами рисунок.

Что это? При этом давайте договоримся не употреблять пока в наименовании слово *стул*.

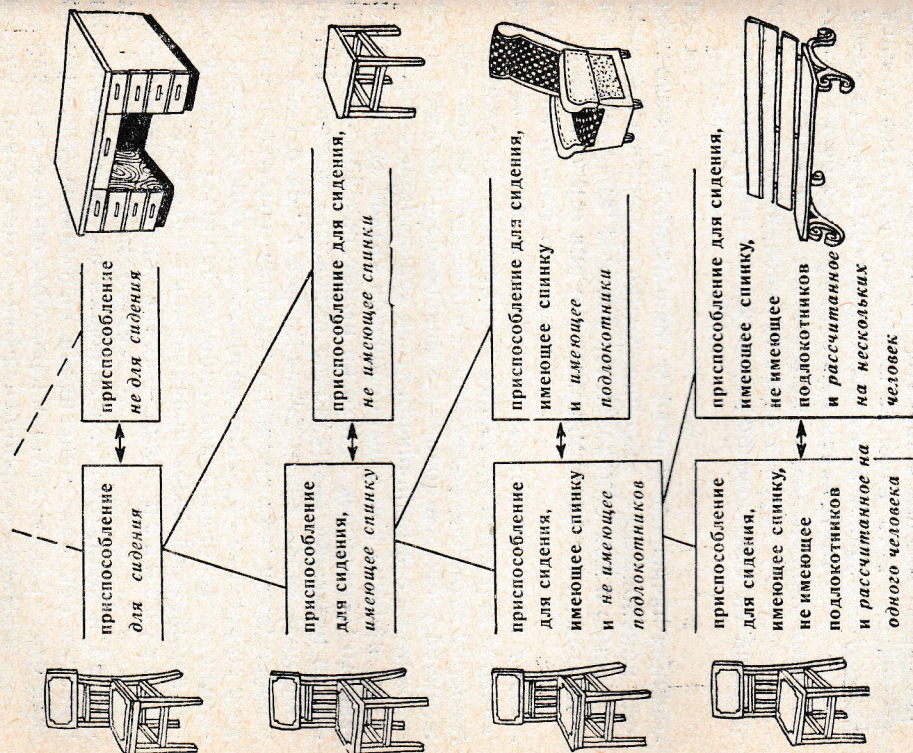
Вспомним наш эксперимент с выяснением того, что значит слово *стул*. Анализируя какие-то отличия стула от других предметов (а точнее, данной ситуации, в которую включен стул, от других ситуаций), мы выявляем все новые, уточняющие дифференциальные признаки и, включая их в наименование, делаем каждое последующее наименование все более точным, видовым по отношению к предыдущему.

Типичные варианты ответов и, главное,

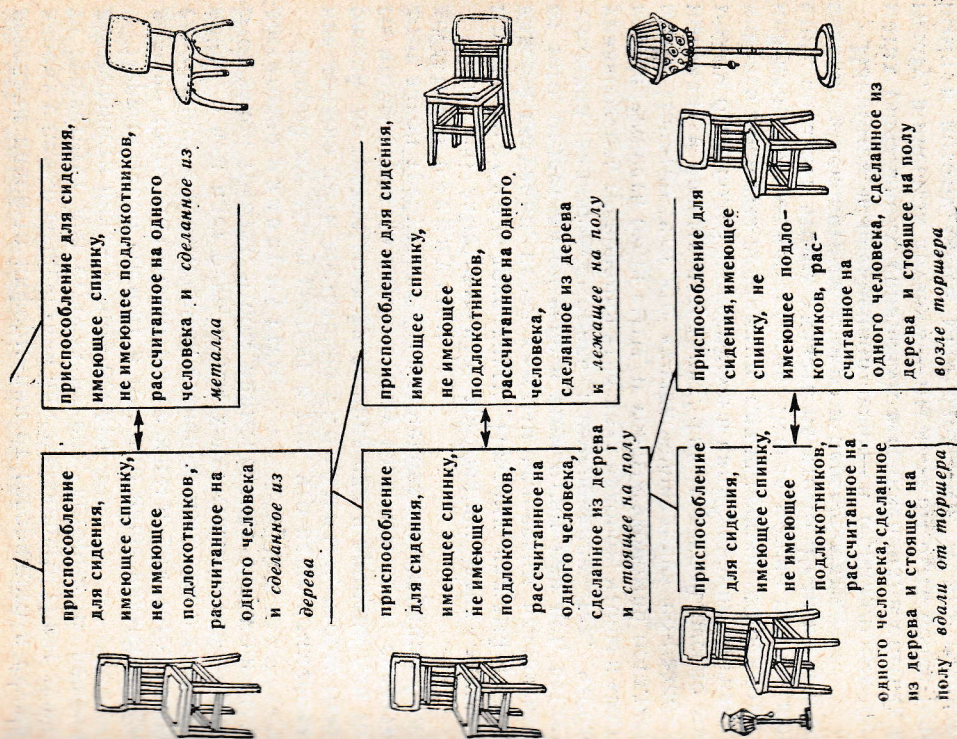




принципиальный механизм выделения дифференциальных признаков, отраженных в наименованиях, можно представить на схеме:



Впрочем, выделенные в нашем эксперименте дифференциальные признаки — еще далеко не предел. Продолжая наш эксперимент, можно выделить еще огромное количество таких признаков. Например:



и так далее.

Как видите, развертывание наименования может продолжаться до бесконечности. И никаких ограничений на такое бесконечное развертывание на первый взгляд нет. Однако на самом деле это не совсем так.

Реальный процесс речевого общения людей осуществляется не ради упражнений на выискивание все новых и новых дифференциальных признаков ситуаций, а для



передачи какой-то информации от говорящего к слушающему с целью воздействия на слушающего. И вот здесь-то существует два строгих закона, которые в речевой деятельности никак нельзя обойти.

Первый закон состоит в том, что наше наименование должно быть достаточно надежным для того, чтобы слушающий с необходимой степенью полноты и точности понял, о чем идет речь, о чем хочет сказать говорящий. Этот закон требует, чтобы наименование ситуации было достаточно развернутым.

Второй же закон состоит в том, что наше наименование должно быть достаточно экономным, чтобы говорящий не тратил попусту лишних сил и времени для того, чтобы передать слушающему то, о чем хочет сказать. Этот закон требует, чтобы наименование ситуации было достаточно свернутым.

Нетрудно заметить, что требования этих законов противоречат друг другу. Поэтому каждый раз, в каждой ситуации, перед каждым человеком независимо от того, отдает ли он себе в этом отчет или нет, встает сложная задача — выбрать наименование так, чтобы уравновесить требования этих двух законов, чтобы и «волки» надежности были сыты, и «овцы» экономии остались целы. Понятно, что это «уравновешивание» по-разному выглядит в разных ситуациях. Так, в устной беседе мы можем быть более экономными в наименованиях, ограничиваясь зачастую репликами в виде неполных предложений или даже междометиями. Всегда можно помочь жестом, показать что-то, указать на что-то. Если же что-то оказалось непонятным, можно и переспросить.

Напротив, в письменной речи — в официальных бумагах (заявлениях, справках), в сочинениях, в статьях в газету, в письмах друзьям — мы должны быть более точными и потому более многословными. А это труднее. Потому-то учителя требуют от вас умения давать «полные ответы» на вопросы, потому-то так нелегко научиться писать хорошие сочинения.

Требования закона надежности мы удовлетворяем путем развертывания наименования, требования закона экономии — путем свертывания наименования.

Для определенных типов ситуаций в речевой деятельности людей вырабатываются и определенные стандарты степени развертывания и свертывания наименования.

Эти стандарты с детства усваиваются людьми, так же как и слова или грамматические правила.

При этом и процессы развертывания, и процессы свертывания, как правило, происходят в нашем сознании автоматически, как бы подсознательно, и так стремительно, что мы просто не успеваем обратить на них внимание. Однако мы сразу же реагируем на резкие нарушения этих общепринятых стандартов развертывания и свертывания.

Вот хорошо знакомое вам с детства английское стихотворение в переводе С. Я. Маршака.

### Дом, который построил Джек

Вот дом, который построил Джек.

А это пшеница, которая в темном чулане хранится

В доме, который построил Джек.

А это веселая птица-синица, которая ловко ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится

В доме, который построил Джек.

Вот кот, который пугает и ловит синицу,

Которая ловко ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится

В доме, который построил Джек.

Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кога,

Который пугает и ловит синицу,

Которая ловко ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится

В доме, который построил Джек.

А это корова безрогая,

Лягнувшая старого пса без хвоста,

Который за шиворот треплет кога,

Который пугает и ловит синицу,

Которая ловко ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится

В доме, который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая,

Которая доит корову безрогую,

Лягнувшую старого пса без хвоста,



Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме, который построил Джек.

А это ленивый и толстый пастух,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме, который построил Джек.

Вот два петуха, которые будят того пастуха,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая ловко ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится  
В доме, который построил Джек.

Ну чем не наша (заметьте: данная в учебных целях!) схема развертывания наименования ситуации со стулом?

Комический эффект этого стихотворения основан на том, что здесь нарочно «выключен» механизм свертывания. И потому простейшие фразы в конце стихотворения приобретают поистине чудовищные размеры. При этом они не просто становятся неуклюжими, но и мешают нам следить за ходом мысли автора. Хорошо, что это всего лишь стихотворение, притом стихотворение-шутка, а если бы хотели — и предостережение. А теперь представьте себе, как раздражала бы вас подобная речь в повседневной жизни! И как она мешала бы общению людей! Вот вам надежность в более или менее чистом виде, без противовеса экономии!

Можно ли привести примеры, противоположные по характеру?

Конечно! Вот стихотворение Г. Сагира.

## Не знаю Кто

Жили-были  
И не дал  
Не знаю Кто  
Не знаю Почему.  
Не знаю с Кем.  
Тут заплакал  
Не знаю Кто:  
— Пожалел ты  
Не знаю Что!  
И пошел  
Не знаю Кто  
Не знаю Куда.  
Это было  
Не знаю Где,  
Не знаю Когда.

Здесь, как вы видите, напротив, явно недостаточно работает механизм развертывания наименований. И потому, располагая лишь очень обобщенными родовыми дифференциальными признаками наименований (*кто, кого, куда* и т. д.), мы явно ощущаем неполноту переданной информации. Вот что такое экономия в более или менее чистом виде, без противовеса надежности! Вот когда нам хотелось бы побольше «надежности», побольше уточняющих дифференциальных признаков.

В связи с описанием закономерностей развертывания и свертывания возникает важный вопрос: какова природа того, что прибавляется при развертывании наименования, и того, что опускается при его свертывании?

Сопоставив наш разговор об актуальном членении в предыдущей главе с приведенными стихами, вы легко можете убедиться в том, что в наименовании, составляющем последнюю строфу стихотворения «Дом, который построил Джек», та часть, которую следовало бы опустить или, во всяком случае, изрядно сократить, — это то, что нам уже и известно, о чем шла речь раньше, т. е. тема. Впрочем, в этом ничего неожиданного нет: ведь и в неполных (однословных) предложениях из диалога про Петрова, который едет в Москву, мы тоже опускали тему, оставляя всегда как обязательную часть рему.

Что же касается желательного развертывания наименований «Не знаю Кто», «Не знаю с Кем», «Не знаю Зачем», «Не знаю Куда», «Не знаю Где» и т. п. в стихотворении Г. Сагира, то столь же нетрудно убедиться, что нам даны темы наименований, а развертывание наименований может осуществляться за счет дополнительных, новых в данной ситуации и потому наиболее важных



для нас характеристик, т. е. ремей. Итак, развертывание наименования всегда осуществляется за счет элементов ремей, а свертывание — за счет элементов темы.

Кстати, если вернуться к нашим фразам о Петрове, который едет в Москву, то после сказанного о процессах свертывания и развертывания ясно, что лишь фраза в первой ситуации может быть представлена как несвернутая, если не считать наименований типа «В нашем классе есть Петров. Он завтра едет в Москву». Все остальные фразы явно получены как более компактные, «экономные» наименования в результате свертывания из разных развернутых наименований, мелькающих в голове студенты в разных ситуациях.

Развернутые наименования (если бы они были произнесены) могли бы звучать приблизительно так:

во второй ситуации (с ремей в *Москву*): *Петров, который, как вы уже знаете, завтра куда-то едет, отправляется именно в Москву*;

в третьей ситуации (с ремей *Петров*): *Тот из нас, кто завтра едет в Москву, — это Петров*;

в четвертой ситуации (с ремей *едет*): *Петров, отправляясь завтра в Москву, не полетит, не поплывет, а поедет*;

в пятой ситуации (с ремей *завтра*): *Петров, который должен скоро ехать в Москву, поедет именно завтра, а не послезавтра*.

Как видите, совпадение наименований после свертывания в одинаковых по форме фразах (если, конечно, не учитывать различий в логическом ударении) оказывается до некоторой степени случайным, представляет собой своеобразную ситуационную «омонимию» грамматической структуры.

Итак, из разных развернутых наименований могут быть получены при свертывании формально одинаковые наименования.

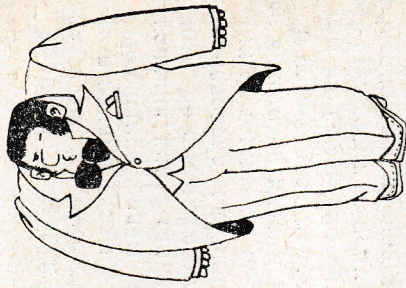
И наоборот, в различных ситуациях из-за переменности выделения наиболее важных элементов, ремей, одинаковые развернутые наименования могут по-разному свертываться.

Поэтому поезд, который курсирует между Москвой и Ленинградом, в Москве называется *ленинградским*, а в Ленинграде — *московским*. Как и вокзалы, откуда отправляются или куда прибывают эти поезда: *Ленинград-*

*ский вокзал* в Москве и *Московский вокзал* в Ленинграде. Ремей, естественно, оказывается наименованием не того пункта, в котором находятся участники разговора, а другого, ибо название именно пункта назначения и уточняет для этих людей маршрут поезда.

Механизм свертывания приводит к образованию сравнительных и метафор.

Когда в гоголевских «Мертвых душах» Чичиков «взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз *показался весьма похожим на средней величины медведя*. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинные, панталоны длинные, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги». В этой фразе указание на сходство Собакевича с медведем дается весьма развернуто: *...показался весьма похожим на...*



А вот следующий фрагмент из того же эпизода поэмы: «— Прошу прощения! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйста, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостью, *как такой медведь*, который уже побывал в руках, умеет и переворачиваться и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся», — или: «А как, Миша, малые ребята горюх крадут?» Как видите, здесь на сходство Собакевича с медведем указывает лишь сравнительный союз *как*, что и делает это высказывание тем, что обычно называют сравнением.

Наконец, в третьем фрагменте отсутствует даже этот сравнительный союз: «Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: *медведь! совиный медведь!* Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем». Это уже метафора. Здесь Чичиков прямо называет Собакевича медведем, хотя мы все, конечно, понимаем, что это название фигуральное, переносное, появившееся на базе сравнения.



## Мой верный друг! мой враг коварный!

(Синонимия и антонимия в речевой деятельности)

Вернемся теперь к нашему запрету на употребление слова *стул* в наименованиях ситуаций, о которых шла речь в начале предыдущей главы.

Последние фразы, завершающие развертывание наименования, вроде «приспособление для сидения, имеющее спинку, не имеющее подлокотников, рассчитанное на одного человека, сделанное из дерева и стоящее на полу вдали от торшера», по-видимому, уже давно вызывали у вас некоторое недоумение.

В самом деле, зачем выражаться так громоздко, если о том же самом можно сказать совсем просто: «деревянный стул стоит на полу вдали от торшера». Ведь «приспособление для сидения, имеющее спинку, не имеющее подлокотников и рассчитанное на одного человека», — это и есть стул!

Да, это так. Однако для ситуации нашей беседы о принципах построения наименований мне понадобилось наименование, пусть более громоздкое, но зато более четко выделяющее необходимые мне уточняющие дифференциальные признаки. В самом деле, в нашей схеме (повторяю: учебной схеме) такое развернутое, неуклюжее наименование оказалось куда более уместным. «Надежность» здесь важнее «экономии», тем более что, как вы уже убедились, далеко не все, говоря о стуле, сразу вспоминают о том, что у него нет подлокотников, о том, что он рассчитан на одного человека. А в развернутом наименовании это все уже названо: хочешь не хочешь, а вспомнишь!

Конечно, в подавляющем большинстве других ситуаций нам достаточно более «экономного» наименования *стул*. Для них такое наименование оказывается не только более эффективным, но и достаточно «надежным».

Кстати, оно экономно не только потому, что короче, но и потому, что привычнее. Свернутое наименование и производится говорящим, и осознается слушающим почти автоматически, требует от обоих куда меньше

творческих усилий, чем развернутое, и, значит, освобождает нашу память, наши силы, наше творчество для решения других задач.

Итак, и *стул* и *приспособление для сидения, имеющее спинку, не имеющее подлокотников и рассчитанное на одного человека*, хотя и имеют некоторые особенности в наименовании соответствующих ситуаций, обозначают приблизительно одно и то же. И следовательно, имея разные планы выражения при сходных планах содержания, являются синонимами.

Впрочем, и каждое из остальных наименований стула, приведенных на наших схемах, тоже в этом смысле выступает как синоним ко всем остальным, сохраняя принципиальную общность содержания и различаясь лишь в деталях.

В конкретных ситуациях, заменяя каждое из этих наименований другим для обозначения того же самого, мы, сознательно или бессознательно, сравниваем эти два возможных наименования, сосредоточив вначале внимание на том, что их объединяет (иначе само сравнение было бы невозможным), затем решаем, какое же из них больше подходит в данной ситуации, т. е. сосредоточиваем внимание на том, что их различает, на их дифференцирующих особенностях, ибо именно они и влияют в конечном счете на наш выбор.

Иными словами, в процессе выбора есть как этап отождествления (несмотря на некоторые различия), так и этап противопоставления (несмотря на сходство). Первое есть механизм «синонимии», о которой мы уже говорили, второе есть механизм «антонимии», о которой в этой книге еще речи не было, но про которую вы хорошо знаете из школьных учебников.

В самом деле, *велик* и *огромен* нами обычно воспринимаются как синонимы. Правда, *огромен*, по-видимому, это больше, чем *велик*, но все-таки важнее то, что их объединяет, — «нечто очень больших размеров». А *прекрасный* и *ужасный* нами обычно воспринимаются как антонимы. Правда, у них очень много общего: и *прекрасный* и *ужасный* обозначают высокую степень эмоциональности в оценке события, но все-таки важнее то, что их противопоставляет, — «максимальная положительность оценки» и «максимальная отрицательность оценки».

Однако почему я каждый раз употребляю слово



«обычно»? Разве *велик* и *огромен* не всегда синонимы? А *прекрасный* и *ужасный* — разве не всегда антонимы? Нет! Ведь синонимия, делая акцент на общем, не уничтожает различия, а лишь приглушает их, делает их менее актуальными. А антонимия, делая акцент на противопоставлении различий, не уничтожает общего, а лишь приглушает его, делает его опять-таки менее актуальным.

Иными словами, дело не в наличии или отсутствии общего и различного, а в том, что в данной ситуации *оказывается* особенно важным, актуальным (ну как не вспомнить еще раз наш разговор о теме и реме!).

И если в каких-то ситуациях привычные акценты *сменяются*, то разрушаются и привычные представления о *синонимах* или *антонимах*.

У известного поэта XVIII века Сирано де Бержерака, отчаянного дуэлянта и галантного кавалера, был необычайно большой нос, который служил источником постоянных насмешек окружающих. Сирано страдал, но скрывал это, сам в разговорах подчеркивая величину своего носа. В пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (перевод на русский язык Т. Л. Щепкиной-Куперник) Сирано заявляет: «И я не буду скромненьким. И нос мой не велик, о нет, мой нос *огромен*!» Посмотрите, как неожиданно наиболее актуальным становится именно то, что *отличает* *огромен* от *велик*, усиливая, подчеркивая размеры носа Сирано. Привычные для нас синонимы в этой ситуации оказываются антонимами.

А вот обратный пример. Еще одно стихотворение Г. Сапгира.

#### Людоед и принцесса, или все наоборот

Вот как это было:

Принцесса была прекрасная,  
Погода была ужасная.  
Днем во втором часу  
Заблудилась принцесса в лесу.  
Смотрит: полянка прекрасная,  
На полянке землянка ужасная.

А в землянке — людоед:  
— Заходи-ка на обед! —  
Он хватается за нож, дело ясное,  
Вдруг увидел, какая...

Людоеду сразу стало худо...  
прекрасная!

— Уходи, — говорит, — отсюда.

Аппетит, — говорит, —  
ужасный.

Слишком вид, — говорит, —  
прекрасный.

И пошла потихоньку принцесса.  
Прямо к замку вышла из леса.  
Вот какая легенда ужасная!  
Вот какая принцесса прекрасная!

прекрасная!

Поэт забавно обыгрывает здесь антонимы *прекрасный* и *ужасный*, создавая своеобразные «зеркальные» описания: принцесса, погода, полянка, землянка то прекрасные, то ужасные. Но вот речь заходит об аппетите. *Прекрасный* и *ужасный* здесь уже не показатели «максимальной положительности оценки» или «максимальной отрицательности оценки», а просто обозначения высокой степени эмоциональности в оценке аппетита. То есть в этой ситуации *прекрасный* и *ужасный* выступают уже как синонимы.

Интересно отметить, что *прекрасный* и *ужасный* в сочетаниях *легенда ужасная* и *легенда прекрасная*, не став синонимами, перестали быть и антонимами, так как утвердили общее в оценке события. Эти оценки — оценки легенды с разных сторон: *легенда ужасная* — оценка содержания легенды, *легенда прекрасная* — оценка ее формы.

Интересные факты, подтверждающие принципиальное единство синонимии и антонимии при сохранении всей их противоположности, можно найти и в поэтических образах.

Когда Г. Р. Державин пишет: «Я царь — я раб — я червь — я бог!», то в этом образе переплетаются и синонимия (характеризуется, причём в определенном отношении, один и тот же человек — рассказчик, «я»), и антонимия (характеристика человека складывается из, казалось бы, взаимоисключающих понятий: царь — раб, червь — бог). Такое сочетание синонимии и антонимии в одном образе делает этот образ удивительно емким, насыщенным, динамичным.

Прекрасный образ родного языка, образ, который можно было бы с успехом использовать как эпиграф к этой книге, создал В. Я. Брюсов:

Мой верный друг! мой враг коварный!  
Мой царь! мой раб! родной язык!



В этом образе — все: и удивительное богатство нашего языка, и трудности овладения его тонкостями, и то, что каждый человек — хозяин в своем языке, и то, что он обязан подчиняться законам этого языка.

Итак, синонимия и антонимия — это две стороны одной медали. А столкновение при выборе двух наименований может делать из них то синонимы, то антонимы — в зависимости от того, что является в данной ситуации главным (т. е. ремой) — сходство этих наименований или их различия.

Разумеется, каждый раз при выборе наименования мы не прибегаем к столь четкому противопоставлению, как это сделал Сирано, рисуя размеры своего носа. Обычно выбор идет автоматически, подсознательно. И на ум приходит то, что более привычно для наименований такого рода, более «центральное» (еще раз вспомните механизм ассоциации поэт — Пушкин).

Поэтому на самом деле выбор из наименований «приспособление для сидения, имеющее спинку, не имеющее подлокотников и рассчитанное на одного человека» и «стул» для подавляющего большинства ситуаций уже предопределен заранее. Более привычное *стул*, как правило, одерживает победу. И лишь в такой специфической ситуации, как наша, когда мы ввели запрет на употребление слова *стул* при наименовании (или раньше, когда мы попросили объяснить, что такое *стул*), мы обращаемся к поиску другого, гораздо более громоздкого и неуклюжего наименования.

Не думайте, впрочем, что подобные ситуации создаются лишь искусственно, в учебных целях. В реальной жизни мы часто встречаемся с необходимостью дать описательный синоним к тому или иному наименованию.

Интересный пример такого описательного наименования приводит чукотский писатель Юрий Рытхэу в автобиографической книге «Под сенью волшебной горы». Рытхэу рассказывает, как перевороти школьникам на чукотский язык начало «Руслана и Людмилы»:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом...

В переложении для чукотских школьников эти строки выглядели так: «У берега, очертания которого похожи на

изгиб лука, стоит зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт. На этом дереве висит цепь. Цепь эта из денежного металла, в точности из такого, как два зуба у нашего директора школы. И днем и ночью вокруг этого дерева ходит животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое. Это животное — ученое, говорящее...»

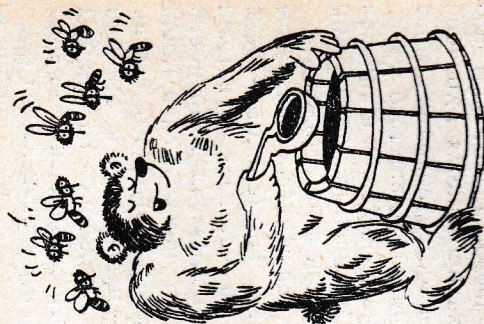
Отсутствие в чукотском языке специальных компактных наименований для обозначения соответствующих понятий и привело к тому, что с учетом реальных знаний чукотских ребятишек о мире дуб обозначается как «зеленое дерево, из которого делают копылья для нарт», кошка как «животное, похожее на собаку, но помельче и очень ловкое», золотой — как сделанный «из денежного металла, в точности из такого, как два зуба у нашего директора школы».

Ситуации вроде той, которая описана Ю. Рытхэу, встречаются тогда, когда говорящий создает описательное наименование, чтобы слушающий лучше понял, о чем идет речь.

В других ситуациях говорящие прибегают к развернутым индикаторным наименованиям из-за разного рода запретов на синонимичные этим наименованиям слова.

К таким запретам, например, прибегают наши суверенные предки, да и сейчас часто прибегают охотники, у которых не принято называть некоторых животных. Так появилось еще в глубокой древности описательное наименование *медведь* (первоначально *медведь*, т. е. «едающий мед»). А в наши дни в северных деревнях уже и этого имени стараются избегать, называя медведя *хозяином*. А чтобы «не сглазить» (кто знает, насколько удачна будет охота!), охотнику желали *ни пуха ни пера*, хотя на самом деле ему желали удачи, т. е. и «пуха» и «пера»!

Этот обычай перекочевал в быт школьников и студентов. И сегодня, чтобы «не сглазить»,





мы желаем ни пуха ни пера идущему на экзамен (кто знает, насколько удачна будет эта «охота»!).

Иногда, впрочем, запреты бывают и достаточно полезными, а развернутые инсказательные наименования — весьма искусственными, манерными. Ну как тут не вспомнить дам города N из гоголевских «Мертвых душ»:

«Еще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Ни когда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегла себе нос», «я обоплаась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подавало нарек на это, и говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» — или что-нибудь вроде этого».

Итак, инсказательные развернутые наименования — тоже важный источник появления синонимов.

А разве не «синонимами» оказываются все наши пересказы (будь то пересказ «словами, близкими к тексту», или пересказ «своими словами»)? Стремясь сохранить суть, мы вольно или невольно допускаем расхождения с исходным рассказом в деталях.

Наконец, и новые слова оказываются своеобразными, более компактными, «свернутыми» синонимами словосочетаний.

В самом деле, *читалка* — это читательный зал, а *физика* — преподавательница физики, *ночник* — это светильник со слабым светом, который ночью зажигают в комнате, а *пятиневка* — это пятидневная рабочая неделя. На эту особенность новых слов указывал еще в прошлом веке русский лингвист Федор Иванович Буслаев, анализируя, как «тот, кто сеет, ожидает жатвы» превращается в «сеятель ожидает жатвы». Как видите, и здесь — тоже выбор. Выбор между более развернутым и менее развернутым наименованием.

Рассмотренный механизм выбора среди сходств и различий помогает понять многие странные на первый взгляд явления в нашей речевой деятельности.

«У отставного генерал-майора Булдева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к большому зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смо-

ченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту». Так начинается рассказ А. П. Чехова «Лошадина фамилия». Когда все средства были исчерпаны, по совету своего приказчика Ивана Евсеича генерал решил обратиться в Саратов к некоему Якову Васильевичу, который «заговаривал зубы — первый сорт». Однако Иван Евсеич вдруг забыл фамилию этого «чудодейственного господина».

«— Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло».

После первых неудачных попыток генерала и приказчика (Жеребятников? Кобылины? Кобылятников? Лошадинин? Лошаков? Жеребчиков? Жеребкин? Лошадкин? Кобылкин? Коренной?) в поиски включается и генеральша (Коренников?), а затем и все остальные домашние.

«И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, помы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...»

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?»

Были отвергнуты Пристяжкин, Жеребковский, Жеребенко, Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский, Коненко, Конченко, Жеребев, Кобылеев, Тройкин, Уздечкин, Гнедов, Рысистый, Лошадицкий, Меринов, Буланов, Череседельников, Засупонин, Лошадский.

И лишь когда доктор, вырвавший наконец генералу зуб, встретил в поле Ивана Евсеича и спросил, не подал ли он овса, приказчик вдруг вспомнил фамилию: Овсов.

Что происходит при подобных явлениях (а они довольно часто встречаются в нашей речевой деятельности)? Мы забыли слово. Мы помним лишь какой-то дифференциальный признак этого слова. (В рассказе Чехова — признак «что-то лошадиное».) Этот признак в наших поисках становится родовым признаком, объединяющим целый класс слов. Поиск нужного слова ведется среди



слов, сходных между собой по этому признаку, т. е. в данной ситуации — слов-синонимов. Признаком «что-то лошадное» обладают слова, объединяющие возраст, пол, породу лошади, и части ее тела, и сбрую, и, как в конце концов выясняется, даже корм. Однако «механизм контроля» в памяти Ивана Евсевича проверяет не только сходства, но и различия. И потому все неправильные ответы отвергаются.

Впрочем, бывает и по-другому. Относительно тонкие различия между значениями слов по каким-то причинам не замечаются говорящим, и тогда вместо одного наименования, более точного и уместного в данной ситуации, однако, как правило, менее «центрального» для говорящего и потому «вылетевшего из памяти», появляется другое, более «центральное», превращающееся в данной ситуации в синоним первого.

Подобные вещи встречаются иногда у взрослых (все тот же «склероз!»). Но особенно часты они в речи детей. Вот что рассказывает Л. Пантелеев о своей четырехлетней дочери в книге «Наша Маша»:

«Пересказывала мне толстовский рассказ «Филипок»:

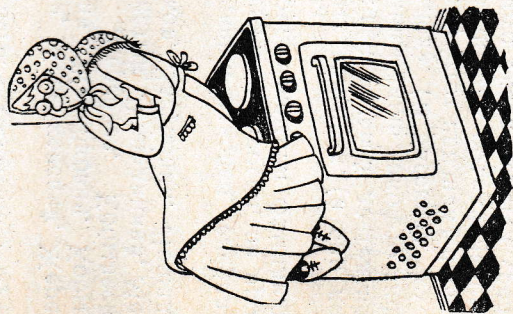
— Один раз мама уехала в город, папа ушел в лес, а бабушка спала на плите.

Я даже на стуле подскочил:  
— На че-о-о-ом?!  
— На плите.

И только тут я понял, что городскому человеку ее поклонения очень нетрудно спутать печку с плитой».

Повторяю, что, чем «центральнее» наименование, тем меньше вероятность того, что оно забудется. Наоборот, такое наименование чаще всего и будет приходить на ум в соответствующих ситуациях.

Однако далеко не всегда такое «готовое» наименование достаточно для говорящего. Тогда он прибегает к созданию новых наименований.



Развертывая и свертывая наименования, выбирая среди синонимов наиболее подходящие для данной ситуации, говорящий проводит огромную творческую работу, создавая такое наименование, которое было бы наиболее удачным для передачи информации слушающему, а в конечном счете — для воздействия на слушающего.

А что же слушающий? Как он осознает наименование, услышанное от говорящего?

Об этом — следующая глава.

## Глава 15

**Зачем это так обязательно та, А жерка, как правило, эта?**

### (Осознание наименования)

До сих пор при описании процессов речевой деятельности мы хотя и интересовались слушающим, но лишь постольку, поскольку его присутствие влияет на поведение говорящего. В целом процессы рассматривались все же «от говорящего».

Теперь обратимся собственно к слушающему. Конечно, во многих отношениях его поведение при осознании наименования «зеркально» отражает поведение говорящего при построении наименования. Однако при всем том речевая деятельность слушающего имеет и много особенностей. Отметим хотя бы некоторые из них.

Услышав наименование, слушающий должен расплести его на какие-то отрезки, «куски». При этом, с одной стороны, каждый такой кусок должен быть относительно самостоятельным наименованием, а с другой стороны, он должен быть составной частью всего наименования в целом.

Так, например, наша фраза *Мальчик сидит на стуле и читает книгу* описывает некоторую ситуацию. Однако, чтобы представить эту ситуацию целиком, нужно сначала вычленив в ней наименование мальчика, стула, книги, наименование положения мальчика относительно стула, наименование процесса «сидения» на стуле (а не «стояния» или «лежания» на нем), наименование действия мальчика



по отношению к книге (читает, а не рвет, не стучит ею по столу) и т. п.

Эти наименования объединяются в более «крупные»: *мальчик сидит на стуле, мальчик читает книгу*. Наконец, и эти наименования объединяются в одно (с одновременным свертыванием двух повторяющихся наименований «мальчик»): *Мальчик сидит на стуле и читает книгу*. Вот и осознана ситуация в целом. Причем осознана не вообще, а прежде всего как сочетание тех элементов, которые выделил в ней говорящий.

Итак, задача расчленения наименования на «куски» при осознании, на первый взгляд, довольно примитивна: выдели отдельные слова — и все станет ясно. Однако на самом деле все далеко не так просто.

Попробуйте разделить на такие «куски» услышанный текст на неизвестном иностранном языке — ничего у вас не получится! Почему? Потому что нужно узн ать наименования в потоке речи, а узнать вы и не можете: язык ведь неизвестен! Впрочем, совсем не обязательно обращаться к иностранному языку. Незнакомые элементы могут встретиться нам и в разговоре на русском языке.

Когда в популярной сценке мы слышим такой диалог:

— Как вас зовут?

— А вас, —

нам смешно именно потому, что мы знаем, что А вас — это имя студента-грузина, и потому правильно «делим» (точнее, в данном случае не делим) этот ответ на части. Но доцент этого не знает и потому, как и всякий нормальный носитель русского языка, воспринимает это наименование не как ответ, а как встречный вопрос, состоящий из двух элементов (*А вас?*). Причем такое привычное для русского человека деление этого наименования кажется тем более правильным и бесспорным, что сама ситуация разговора-диалога, когда два собеседника только начинают знакомиться, вполне естественно предполагает, что один из них что-то не расслышал и потому переспрашивает другого. Правда, этого другого такое «переспрашивание» наконец приводит в ярость. «Как можно быть таким бестолковым?» — думает доцент.

В одной школе пятиклассники писали диктант по стихотворению А. С. Пушкина «Анчар». Студентка-практикантка, прочтя предложение, не догадалась объяснить, что такое анчар. И вот ученик написал: «Анчарка,

грозный часовой, стоит один во всей вселенной». «Анчарка» явно навеяно знакомым *овчарка*. Но почему именно *овчарка*? Только ли по сходству звуков? Нет, конечно! На такое выделение наименования толкают другие выделенные учеником элементы ситуации — *грозный часовой*. Что же это за грозный часовой? Естественно, сторожевая собака. *Овчарка* или там «анчарка» — в общем, она и есть этот самый грозный часовой!

Здесь я хочу обратить ваше внимание на существенный момент: слушающий осознает тот или иной «кусок» наименования не изолированно от других «кусков», не по слову (как порой мы, взяв словарь, переводим трудное предложение с иностранного языка), а по возможной постоянной соотнося его с другими «кусками», с ситуациями в целом.

Впрочем, деление наименования на «куски» осложняется не только тем, что мы можем встретить в нем знакомые элементы. Даже если это очень хорошо знакомые нам слова и выражения, далеко не всегда легко решить вопрос, сколько же в них выделяется таких «кусков»: один? два? три?..

— А разве число таких «кусков» в данном наименовании не является постоянным? — спросите вы.

Оказывается, нет! В разных ситуациях одно и то же наименование может быть то членимым на «куски», то нечленимым, т. е. вообще не делится на такие «куски».

Вот лишь один пример.

Вы все хорошо знаете, что слова бывают непронизводимыми и пронизводимыми.

Слова *утренник, дневник, вечерник, ночник* — очень разные по значению (*утренник* — праздник, *дневник* — особая тетрадь, *вечерник* — студент, *ночник* — лампа). Однако все они — явно производные. В них выделяются совершенно однотипные по значению корни, связанные с частями суток: утром, днем, вечером, ночью.

Казалось бы, и при осознании слушающий должен всегда учитывать производность этих слов и потому однозначно разбивать их на «куски», среди которых главную роль будет играть корень слова, и осознавать слово, опираясь прежде всего на его корень.

Однако далеко не всегда осознание этих слов идет именно таким образом. Можно ли это доказать? Можно!



Нам поможет ассоциативный эксперимент (вспомним, как мы обнаруживали связь: *поэт — Пушкин*).

Ученикам старших классов давалось одно из этих слов и предлагалось написать слово с тем же суффиксом. Когда мы обобщили результаты эксперимента, то оказалось, что основные ассоциации у слова *утренник* возникают со словом в целом (*праздник*, а также *песенник*, *пикник*, *имениник*), у слова *дневник* — также со словом в целом (*ученик*, *школьник*, *учебник*), а у слова *вечерник* ассоциации возникают, как правило, с корнем слова *вечер* (*утренник*, *дневник*, *ночник*, *полдник*, *субботник*, *воскресник*).

Как видите, результаты эксперимента четко показывают, что в производном слове ассоциативная связь с ситуацией может возникать как с корнем слова, так и со словом в целом. А это значит, что если в одном случае слушающий обязательно осознает наименование (слово *вечерник*) по «кускам», то в другом случае он может и не обратить внимания на то, что такие «куски» (в словах *утренник*, *дневник*) существуют.

Конечно, ребята могли каждый раз выбирать любой из двух этих путей осознания слова — через его элементы или целиком, однако типы ситуаций, с которыми сильнее, привычнее связано данное слово, толкали учеников на то, что они (причем, по-видимому, ненамеренно) избирали, как правило, лишь один путь осознания, характерный именно для данного слова.

Почему же произошло так, что слова *утренник* и *дневник* осознаются в целом, а слово *вечерник* делится на «куски», отдельно осознается значение его корня?

Дело в том, что, чем активнее употребляется наименование (в данном случае слово), тем, как правило, меньше внимания мы обращаем на то, из каких элементов оно состоит. Мы воспринимаем его прежде всего целиком, и нам нет надобности каждый раз вникать в его структуру. Стоит ли говорить, насколько хорошо известны школьникам слова *утренник* и *дневник*? Поэтому и ассоциации в этих случаях вызывает слово в целом.

Напротив, слово *вечерник* мало распространено среди школьников. В таких случаях, чтобы как-то осознать его, человек специально обращает внимание на его структуру, в частности пытается понять малознакомое слово с

помощью осознания его корня. Отсюда и появляются ассоциации прежде всего к корню (*вечер*).

Итак, чем хуже мы знаем наименование, тем чаще обращаемся к его структуре. И наоборот, чем лучше мы знаем наименование, тем мы делаем это реже, так как для нас это лишняя работа: мы «и так знаем» это наименование.

Понятно, что если мы перестанем обращать внимание на корень слова при его осознании, то можем постепенно забыть, какой в этом слове корень.

Так, в слове *рыло* мы можем выделить корень *ры-* (тот же, что в глаголе *рыть*) лишь с большим трудом, если специально обратить наше внимание на то, что *рыло* — это то, чем *роют*, как *мыло* — то, чем *моют*, а *шило* — то, чем *шьют*. Для современного языкового сознания эти связи уже почти не ощутимы.

Подобные случаи особенно трудны для словообразовательного или морфемного анализа. Зачастую выделение корня в слове выглядит в работах учеников совершенно фантастически. Вот примеры, собранные учительницей из Свердловска А. Д. Прозоровой: *огневой* — некоторые учащиеся членили как «огнев-ой», *зачастили* — как «за-час-тили», *докладчик* — как «до-клад-чик», *свиный* — как «сви-реп-ый», *пестрели* — как «пес-трели».

Как видите, в одних случаях не выделяется настоящий корень (*рыло*), а в других придумывается «корень», которого в слове нет. Вот еще несколько примеров из эксперимента, проведенного с девятилетними ребятами «Комсомольской правдой»: *алтарь* — человек, который живет на *Алтае*; *панихида* — кто-нибудь крикнет, *панику* пустит, а все убегают; *сутяга* — человек, который выраживает *утят*. Характерно, что эти слова неизвестны ребятам и они пытаются опереться на какое-то знакомое им сочетание звуков, которое принимают за корень слова. Не случайно эта особенность детского восприятия слова часто обыгрывается писателями. Так, в повести А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» (пересказ Б. Заходера) Винни-Пух поет:

Опять ничего не могу я понять,

Опилки мои в беспорядке.

Везде и повсюду опять и опять

Меня окружают загадки!

Возьмем это самое слово *опять*,



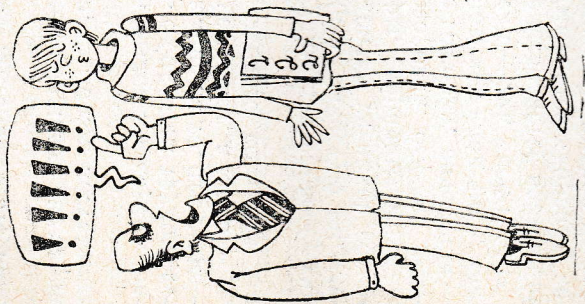
Зачем мы его произносим,  
Когда мы свободно могли бы сказать  
«ошесть», и «осемь», и «овосемь»?  
Молчит *этажерка*, молчит и *тахта* —  
у них не добьешься ответа,

Зачем это *хта* —

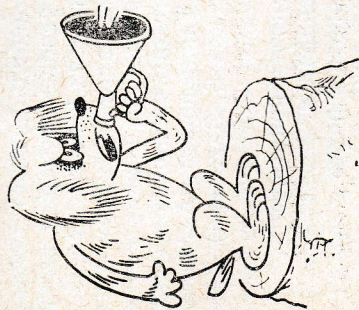
обязательно *та*,  
А *жерка*, как  
правило, *эта*!

Теперь понятно, почему од-  
ни слова разбирать по составу  
совсем легко и просто, другие —  
несколько труднее, а в треть-  
их — нелегко разобратся по-  
рой даже специалисту?

Кстати, «находить» корень  
в словах, где на самом деле  
такого корня нет, можно не  
только по незнанию. Иногда  
такое «выделение» корня спе-  
циально используется как сред-  
ство создания комического эф-  
фекта. Вот уже несколько лет  
на последней странице «Лите-  
ратурной газеты» появляются  
неожиданные «толкования»  
слов:



*батисфера*



*лайнер*

*батисфера* — сфера вмешательства отца в се-  
мейные дела,  
*едва* — процесс поглощения пищи,  
*застенчивый* — живущий по соседству,  
*лайнер* — порода собак с громким голосом,  
*спичка* — соня, любительница поспать,  
*хрусталь* — битое стекло и т. д.

Эта игра со словами, которую придумал языковед из  
Минска Борис Юстинович Норман, оказалась очень увле-  
кательной и популярной: она в острый, гротескной форме  
воспитывает наблюдательность, умение находить неужи-  
данные, нестандартные ассоциации для самых, казалось бы,  
простых, привычных наименований.

Итак, иногда нечленимые наименования могут осо-  
знаваться как членимые.

Впрочем, может встретиться не только такое странное  
разделение, но и не менее странное объединение наиме-  
нований. Иногда явно изолированные друг от друга, но  
оказавшиеся рядом наименования, описывающие две  
разные ситуации, могут осознаваться как элементы одно-  
го более «крупного» наименования, описывающего более  
«крупную» ситуацию.

Вот несколько примеров объяснений из раздела «На-  
рочно не придумаешь», который вот уже много лет ве-  
дется в журнале «Крокодил»:

Кинолекторий **ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ**  
*бесплатно*

Или:

**ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ**  
Кроме детей до 14 лет

Или:

**ПРОДАЕТСЯ** немецкая овчарка. *Кушает*  
*любое мясо. Особенно любит маленьких*  
*детей.*

Конечно, жизненный опыт подсказывает нам, что к  
нему. Однако невольно срабатывает и механизм объеди-  
нения, и мы смеемся потому, что неправильное осознание  
принципе оказывается вполне возможным.

Так что, как видите, решение задачи — сколько эле-  
ментов в наименовании и насколько целесообразно осо-



знать их «слитно» или «раздельно» — дело совсем не такое простое, как могло показаться на первый взгляд.

Для того чтобы составить представление о ситуации типа той, которую имел в виду говорящий, слушающему вовсе не обязательно осознавать каждый из «кусков» наименования. Вспомните, как вы просматриваете газету или книгу — вы ведь не читаете все подряд, а «выхватываете» глазами отдельные слова и выражения и по этим «кускам» создаете ситуацию, аналогичную той, которую, по вашим предположениям, мог описать говорящий. Важно при этом «выхватить» самый главный «кусочек» наименования (как видите, снова нужно вспомнить наш разговор о теме и реме!). Насколько же ситуация, созданная слушающим, соответствует той, которую имел в виду говорящий? Это зависит и от того, насколько детально и точно описал «ту» ситуацию говорящий (я уже показывал, как велико может быть варьирование такого описания), и от того, насколько полно и точно слушающий сумел из отдельных «кусков» наименования создать цельную картину в своем сознании.

А создавать такую цельную картину слушающий начинает сразу, не дожидаясь конца наименования. Он и само наименование может «восстановить» по его началу. Скажем, если я попрошу вас закончить фразу *Куй железо...*, ваши ответы будут почти единодушны (на минуту допустим, что вы не видели фильма «Бриллиантовая рука»): *...пока горячо*.

Итак, слушающий не ждет, пока говорящий договорит до конца, а пытается уже по первым элементам наименования восстановить всю ситуацию, о которой идет речь, целиком. Конечно, при этом прежде всего на ум ему приходят сложившиеся на основе его предыдущего опыта наиболее вероятные, наиболее стандартные варианты связи услышанного фрагмента наименования с ситуациями (опять тот же самый механизм: *поэт — Пушкин!*). Не случайно эта особенность поведения слушающего при осознании наименования называется в лингвистике вероятностным прогнозированием.

Любому из вас хорошо известен тип людей, которые не могут удержаться, чтобы уже в самом начале рассказа не перебить рассказчика криками: «Понял! Понял!» или: «А, знаю! знаю!» — и затем предлагают свое «встречное» описание (кстати, зачастую совсем не похожее на то, ко-

торое хотел дать рассказчик). В этих случаях ярко проявляется действие механизма вероятностного прогнозирования, правда усиленное невдержанностью. Обычно, чем больший фрагмент наименования услышан человеком, тем легче ему восстановить ситуацию целиком.

Впрочем, «восстановление» наименования далеко не всегда может оказаться правильным, потому-то и прогнозирование называется вероятностным.

Любимая поговорка жуликов из кинофильма «Бриллиантовая рука» — «Куй железо, не отходя от кассы» — оказывается неожиданной для зрителя, который впервые смотрит этот фильм, именно потому, что он знает фразу «Куй железо, пока горячо» и ждет после слов *Куй железо...* привычного для себя продолжения. Однако конец фразы в фильме иной. Он не может быть предсказан началом ее и потому оказывается неожиданным. А прогноз зрителя — нарушенным.

Не всегда даже самые, казалось бы, аргументированные прогнозы позволяют сделать правильный вывод. Вспомните, сколько раз участники экспедиции лорда Гленарвана, герои романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта», отгравившиеся на поиски отважного капитана Гранта, по-новому прочитывали найденное в бутылке письмо, содержащее лишь часть наименования ситуации. С каждым разом они оказывались все ближе к истине, но так и не смогли восстановить ее до конца.

«Итак, — сказал Мак-Наббс капитану Гранту, — он (речь идет о Паганеле. — Л. С.) был недалек от истины. Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушение. Слово *continent*, которое он истолковал вначале как *continent* (континент), стало впоследствии *continentelle* (постоянная); *indi* означало сперва *indiens* (индейцы), а затем *indigènes* (туземцы), наконец, правильно было понято слово *indigence* (лишения). Только обрывок слова *about* ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно считал его частью французского глагола *aboutir* (причаливать), тогда как это было название острова Табор, того самого, где нашли приют потерпевшие крушение на «Британии». Ошибка эта была, впрочем, простительна, поскольку на корабельных картах «Дункана» этот островок значился под названием «Мария Тереза».

Все же механизм вероятностного прогнозирования



действует столь сильно, что порой «забывает» наши действительные знания.

Еще один небольшой эксперимент. Всем хорошо известен пушкинский афоризм из «Евгения Онегина»: «Чем меньше женщину мы любим, Тем...» Продолжите, пожалуйста, эту фразу!

Подавляющее большинство из вас закончит этот афоризм вполне «естественным» образом: «...тем больше нравимся мы ей». Конечно, ведь здесь в конструкции «чем... тем...» прямо-таки напрашивается четкое противопоставление привычных антонимов *меньше — больше*. Однако ведь у Пушкина не так!

Чем меньше женщину мы любим,  
Тем легче нравимся мы ей...

Я сейчас не буду анализировать, почему Пушкин нарушил привычное противопоставление *меньше — больше* и почему неожиданное *легче* делает афоризм куда более тонким. Сейчас важнее другое: вы не вспомнили то, что есть у Пушкина, а создали свое наименование, опирались на другую ситуацию на основе привычной схемы противопоставления *меньше — больше*.

Резкое нарушение механизма вероятностного прогнозирования создает особый эффект — «эффект обманутого ожидания». Этот эффект (как в только что приведенном примере из «Бриллиантовой руки») зачастую лежит в основе комического, используется как специальный прием.

Когда Аркадий Райкин в одной из своих интермедий говорит с пафосом: «На мне блестящий...», вы, осознав слово *блестящий* в переносном значении («прекрасный»), прогнозируете некую мажорную ситуацию с эмоционально-положительными оценками. И вдруг Райкин заканчивает фразу словами: «...во многих местах костюм». И сразу «мажор» пропадает. Оказывается, все прозвучало, буднично. Речь идет о костюме, и он *блестящий* совсем не в переносном, а в самом прямом значении: *блестящий*, следовательно старый и вытертый. Напыщенность начала фразы сталкивается с реальным положением дел. Мы смеемся не над потертым, блестящим костюмом героя, а над его самомнением, которому мы уже готовы были поддаться после слова *блестящий*.

Такой же прием создания эффекта обманутого ожидания используется и в шуточных «статях» стенгазеты

«Рога и копыта» на последней странице «Литературной газеты». Вот несколько примеров:

### СТРОИТЕЛИ НЕ ПОДВЕЛИ.

Строители СМУ-17, производившие газификацию Корабельной улицы, не подвели газ к дому № 7.

### НЕ ВЫНОСИТ СОР ИЗ ИЗБЫ

Домохозяйка Смекалова. Она складывает его перед соседской дверью.

### ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕТЕ.

В столовой № 4 никогда не бывает салфеток.

### ХЛЕБ ДА СОЛЬ

обнаружил в котлетах столовой № 6 фрезеровщик Токарев.

Настрой на осознание заголовка такой «статьи» как привычного нам фразеологического сочетания, т. е. как неделимого на «куски» наименования, внезапно разрушается, когда мы начинаем читать текст самой «статьи». Вдруг оказывается, что словосочетание в заголовке совсем не фразеологическое, что его нужно делить на «куски», отчего значение этого словосочетания оказывается буквальным, уже совсем не стандартным, часто полузабытым и непривычным (почти так же, как в случае *рыло — то, чем роют*, только там речь шла о словах, а здесь — о сочетаниях слов). И мы смеемся над собой: как же ловко нас провели! Ведь мы ожидали совсем другого!

Вот и подходит к концу наш разговор об особенностях осознания наименований. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в этой главе очень много примеров разного рода нарушений осознания, как нечаянных, так и нарочитых, приводящих к комическому эффекту. Что ж, именно такие нарушения привычных наших действий, приоткрывающая тайны нашего мышления, позволяют лучше выявить механизм осознания наименований.

Как видите, работа слушающего при осознании наименования — совсем не просто пассивное поэментное восприятие наименования. Слушающий активен, он постоянно решает свои, «слушательские» задачи, определяет, как разбить наименование на «куски», правильно ли он выделяет такие «куски», на основании каких-то «кус-



ков» прогнозирует наименование ситуации, а затем уже уточняет, правильно ли он это сделал.

Конечно, так же как говорящий не может описать ситуацию во всех деталях, слушающий не может точно представить себе эту ситуацию во всех деталях. И здесь действуют все те же законы экономии и надежности: стараться выделять деталей не больше и не меньше, чем это нужно для того, чтобы с необходимой степенью точности понять, о чем идет речь.

## Глава 16

### «В пальте» — это по-русски!

(«Языки» в языке. Необходимое дополнение, которое могло бы стать третьей частью)

В предыдущих главах речь шла о трудностях, возникших вследствие того, что язык — не просто общественное явление, но и явление, связанное с безусловными процессами мышления.

Может создаться впечатление, что все сложности в устройстве языка как системы знаков, все противоречия этой системы и в конечном счете сама вариативность ее возникают лишь потому, что отдельные люди по-разному пользуются языком из-за особенностей памяти, личного опыта и т. п.

Однако такая точка зрения оказывается упрощенной. Вариативность языка возникает из-за особенностей речевой деятельности не только отдельных людей, но и сматриваемый только как общественное явление, — устройство гораздо более сложное и противоречивое, чем может показаться на первый взгляд. Любой язык как исторически сложившееся общественное явление представляет собой не одну систему, а много систем, находящихся между собой в сложных отношениях.

Давайте хоть немного познакомимся и с этим, еще одним поворотом проблемы «как устроен наш язык».

Довольно часто каждый из нас слышит: «хожу в пальте», «висят пальта». Поправят человека, а он еще и просит: «Почему же так нельзя говорить?»

Но еще интереснее узнать, почему все-таки можно

так сказать (говорят же!). Конечно, «можно» здесь нужно понимать не как разрешение нарушать норму литературного языка, а как саму возможность такого нарушения. Причем самое любопытное, что ведь мы понимаем, о чем идет речь, хотя нам и бывает несколько не по себе, когда мы услышим это «в пальте». Может быть, и здесь есть какие-нибудь закономерности? Представьте себе, есть!

В русском языке все имена существительные изменяются по падежам. Причем, заметьте, требование склонять русские существительные не придумано, не навязано нам школьной грамматикой. Придя в школу, мы узнаем об именительном, родительном и других падежах, о термине «склонение». Но ведь мы пользуемся склонением, изменяем существительные по падежам и до школы (хотя и неосознанно), так как склонение — особенность нашего родного языка.

В школе мы оказываемся в положении Журдена из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». Господин Журден лишь к сорока годам, как вы помните, узнал, что есть стихи и проза и что он много лет уже говорит прозой.

Точно так же и мы узнаем, что слова, обозначающие предметы, называются существительными, что способность русских существительных изменяться называется склонением, а разные формы этого изменения — падежными формами.

Но ведь, повторяю, этими свойствами русского языка пользуются все люди, в том числе и те, которые никогда не ходили в школу. Иначе и быть не может — тогда они не могли бы говорить по-русски!

Интуитивно слова *село*, *окно*, *молоко* объединяются нами в один класс. А почему? Потому что у них одинаковое окончание -о, потому что они одинаково изменяются:

*село* — в *селе*

*окно* — в *окне*

*молоко* — в *молоке*

А если добавлять сюда другие слова с таким же окончанием:

*решето* — в *решете*

*сухно* — в *сухне*

*пальто* — в...



Стоп! Чуть не сказали «в пальте», но вовремя удержались.

А почему, собственно говоря, удержались? Да потому, что «нужно говорить» не так. Слово *пальто* по происхождению не русское. Оно заимствовано, как говорится в «Кратком этимологическом словаре русского языка» Н. М. Шанского, В. В. Иванова и Т. В. Шанской, в XIX веке из французского языка (*paletot*). Французские существительные, в отличие от русских, не имеют падежных окончаний. Заимствование слова *пальто* шло через речь дворян, хорошо знавших французский язык, и потому это существительное закрепилось в русском языке в форме неизменяемой, свойственной французскому языку, но чуждой русскому. Кстати, в такой же неизменяемой форме закрепились в русском языке *кино* и *метро*, *бюро* и *депо*, *казино* и *домино*.

Это один из тех довольно многочисленных случаев, когда более обобщенная грамматическая структура языка, которой владеют все говорящие по-русски, пришла в противоречие с нормой употребления слова в литературном языке, которой владеют лишь те, кто хорошо знает русский литературный язык (а это далеко не все говорящие по-русски).

Вот вам и причина ошибок: особенности владения языком у иного человека порой резко отличаются от общепринятых литературных норм.

И в *пальто* и «в пальте» говорят люди, владеющие русским языком. Но форма *в пальто* характеризует литературную норму. Так говорят все образованные люди, говорят так учат нас в школе, где ученикам прививают навыки употребления таких литературных норм.

А люди не очень грамотные, плохо знакомые с литературной нормой, говорят «в пальте». Причем это не местная особенность речи: «в пальте» могут сказать и в Архангельске, и в Орле, и в Москве, и в Перми. А разновидность русского языка, которая включает подобные случаи, называется просторечием.

Впрочем, вариантность системы русского языка определяется не только разграничением нормированного литературного языка и просторечия. В группах людей, связанных общностью профессий, рода занятий, также появляются свои варианты наименования. Нормой литературного языка является слово *добыча*, горняк же всегда

скажет *добыча*. Ни один уважающий себя моряк никогда не скажет *компас* или *рапорт*, но непременно *компас* и *рапорт*.

Форма изделя из теста—баранка, которую можно кушать в любой булочной, — дала толчок к появлению «профессиональных» переносных значений. *Баранка* у шоферов означает руль автомобиля. Как поется в песне: «Шли мы дни и ночи. Трудно было очень. Но баранку не бросал шофер». А у спортсменов *баранка* означает поражение в игре: ноль в турнирной таблице тоже похож на баранку. И хотя сегодня все мы уже знаем эти новые значения, их «профессиональная» закрепленность продолжает оставаться довольно четкой.

Итак, вариантность русского языка связана с тем, что в нем, кроме общепринятого нормативного литературного языка, есть еще и просторечие, и специфические элементы в профессиональных языках. Но и это, оказывается, еще не все.

Я расскажу о случае, который наблюдал в одной из сельских школ на Урале.

— Аня! Иди к доске! — обращается учительница к девочке, сидящей за первой партой. — Напиши слово *станция*.

Девочка неуверенно пишет: *стансия*.

Учительница отрицательно качает головой:

— Вспомни! Ведь я же объясняла, что неправильно произносить *улиса*, *синиса*, *стансия*. Учитесь говорить и писать *и*!

Девочка оживилась. Она бойко застучала мелом по доске.

Она вспомнила! Слово написано. Но почему учительница опять качает головой? Ведь Аня исправила ошибку! На доске написано: *и* *танция*.

Мы понимаем, что девочка, исправив ошибку, тут же допустила другую, причем довольно странную. Почему это произошло? Откуда и ошибки-то такие необычные? Почему *и* *танция*? И откуда взялась *стансия*? Ну написала бы *станция* — тогда понятно.

А почему, собственно, понятно? Ну как же, *и* в русском языке всегда твердое. Но в словах *рыба*, *сыр*, *мыла* мы после твердых пишем *ы*, а после *и* — *и*. Есть, правда, исключения — все слова во фразе «Цыган на цыпочках цыпленку «цыц» сказал», — но это мало что меняет. Так



что *станция* — это плохо, но по крайней мере понятно.

А здесь что-то несуразное: *стансия*! Описка, наверное! Нет, не описка. Почти все орфографические ошибки так или иначе связаны с особенностями произношения, отражают противоречия между произношением и правописанием. Поэтому нас не удивляют, хотя и огорчают ошибки типа *станция* — ведь мы так говорим!

А что, если Аня тоже так говорит — *стансия*? И это не дефект индивидуальной речи Ани! Так говорят все вокруг нее. С детства Аня не слышала вокруг себя звука *ц*: ведь ее бабушка, и родители, и все знакомые в ее селе говорили *куриса*, *яйсо*. Поэтому и сама она так говорила. Для нее *ц* и *с* всегда раньше сливались в одном звуке *с*.

И так говорят не только в ее селе, но на довольно большой территории Урала. Больше того, кроме Урала, так почти нигде не говорят. Эта особенность русской речи связана с определенной территорией бытования русского языка. И не только эта!

На севере РСФСР (в Архангельской и прилегающих областях) мягко «цокают»: говорят *цай*, *цистый*, *отець*, *куруця*, *отцяянный*. Архангелогородцы говорят: «Трещёчки (т. е. трески) не поешь, цайку не попьешь — кака́ сила?»

А у Пскова тоже «цокают», но твердо: «Псковичане — те же англичане, только наречье иное».

На западе, ближе к Белоруссии, «дзekaют» и «цекают»: «Дзеци, пляцце лапци» («Дети, плетите лапти»).

Севернее Москвы «окают»: *хорошо́*, *голова́*, южнее — «акают»: *харашо́*, *галава́*. По-особому, «по-московски», говорят в самой Москве и прилегающих городах и деревнях: *хэрашо́*, *гэлава́* — с очень коротким и неясным первым гласным (он обозначен здесь через *э*).

В некоторых местах говорят: *стау*, *паука*, *пошоу* (вместо привычных нам *стал*, *палка*, *пошел*), в некоторых — *нясу*, *бярэ*, *поняси*, в одних — *Ванька*, *Танька*, *Манька*, в других — *омманул*, *оммерил*. Я уже приводил несколько языковых прибауток. Вот еще две, отражающие особенности местного произношения: «Менной ковш упал на дно. И обинно, и досанно, ну да ланно — все оно!» (согласие *нн* на месте *дн*); «Тесть любит честь, а зеть любит взеть» (ударное *е* на месте *а* в положении между мягкими согласными).

Некоторые особенности распространены на огромной территории (например, «оканье»), иные встречаются лишь отдельными островками. Но всегда они связаны с определенной местностью и могут быть обозначены на карте. Такой район, территория, на которой распространена та или иная языковая особенность, называется ареалом. А сама разновидность русского языка, содержащая такие особенности, называется территориальным диалектом, или говором.

Русские народные говоры многочисленны и разнообразны. В основном они распространены в сельской местности, что исторически связано с большой обособленностью быта и жизни деревни, с тем, что там более устойчивое, постоянное население, а дальние переезды редки.

Диалектные различия проявляются не только в произношении отдельных звуков. Есть и грамматические особенности. Вот некоторые из них: форма творительного падежа множественного числа — *с рукам*, *с ногам*, *с большим сапогам*; форма предложного падежа единственного числа существительных третьего склонения — *на печё*, *на лошаде́*, *в грязё*.

Встречаются любопытные сочетания предлогов с винительным падежом на месте привычного нам родительного: *мимо лес*, *возле реку*, *подле берег*.

И конечно же, есть интереснейшие особенности в словаре. Десятки тысяч слов известны на ограниченной территории, некоторые — даже в одном селе. И среди этих десятков тысяч — масса необычного, интересного.

Вот, например, бряква. Обычное, ничем не примечательное растение. Однако ему повезло... на названия. Только на Урале их отмечено больше тридцати, не считая производительных вариантов: *калега*, *корляба*, *карамка*, *картуза*, *ланда*, *нарка*, *синелистка*, *корепя*, *дрюпа*, *желтуха*, *голландка*, *шведка*, *немка*, *саксонка*, *арлапка*, *бушма* и даже *бука*. При этом некоторые (*калега*) известны достаточно широко, другие (*картуза*, *карамка*) — только в некоторых деревнях.

Откуда такая пестрота? Причин здесь несколько. Сказалось, во-первых, стремление отразить «заморскость» растения: оно одинаково хорошо отражается и в *шведке*, и в *немке*, и в *голландке*, и в *саксонке* — важно, что есть название далекой страны, а какой конкретно, не все ли равно?



Есть и характеристика по внешнему виду: *желтуха, синелистка*. Есть и варианты, связанные с трудностью освоения незнакомых иностранных слов:

ланда, ландуха, ладна — ср. немецкое das Land (страна, земля);

арлапка, корляба, корлябья и др. — ср. немецкое die Kohlgrübe (репа);

брюква, дрюпа — ср. немецкое диалектное die Bruke, die Wruke (брюква).

Вот какая, оказывается, интересная биография «урожайной» на названии брюквы отражена в уральских говорах.

Укажу еще некоторые особенности говоров Урала, отчасти показывающие, почему и как появляются диалектные различия.

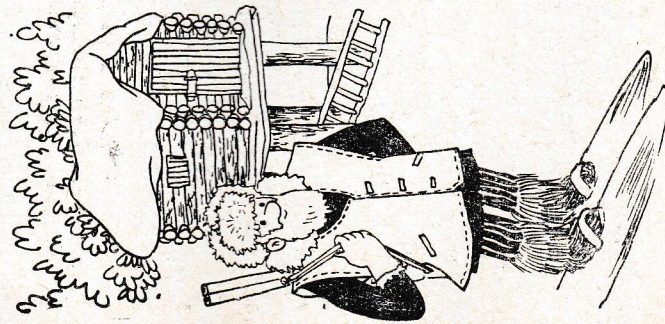
Русские активно заселяли Урал в XVI—XVIII веках. Со многими вещами они впервые столкнулись здесь, на Урале. Для русских поселенцев началась жизнь в новых

условиях, и новые вещи, вошедшие в их обиход, они стали называть так, как назывались они у местного населения — народов коми, манси.

Например, в слове русских охотников появились слова: *лузан* — особый род охотничьей накладки без рукавов, сделанный из крепкого материала, часто обшитого сверху кожей. В таком лузانه не страшна непогода;

*кыс* — шкурка с голени лося, оленя. Шерсть на такой шкурке короткая и жесткая. На кысовых (обшитых кысом) лыжах охотник может смело идти на гору: «против шерсти» лыжи не покапят его назад;

*чамья* (иногда *шамья*) — небольшой лесной амбарчик. В нем хранят добычу, охотничье снаряжение, собранные кедровые шишки. Зверю до со-



держимого чамьи не добраться. А охотник или шишкар, наполнив чамью, может двигаться дальше налегке, продолжая промысел. Потом он вернется сюда и на сажах увезет свою добычу.

Такие названия употребляются лишь на небольшой территории Урала (как правило, северного) и примыкающих районов Европейского Севера и Сибири.

Зато необычайно повезло слову *пельмень*. Теперь оно известно каждому русскому. Очень вкусны сибирские пельмени! А почему, собственно, сибирские? Ведь это уральское кушанье.

Не верите? Слово *пельмень* — это русский вариант сочетания *пель-нянь* из языка коми, что буквально означает «хлебное ухо». А коми, как мы уже говорили, жили с незапамятных времен именно на Урале.

Впрочем, может быть, вы и этому не верите? Тогда посмотрите на карту Урала. Сразу бросается в глаза обилие названий рек, оканчивающихся на *-ва*. Вот только некоторые из них: *Вильва, Гайва, Колва, Косьва, Лысьва, Ножва, Сылва, Сюзьва, Урва, Язьва* и, наконец, *Чусова* (вероятно, из *Чусва*).

Странное совпадение, не правда ли? Нигде в другом месте нет такой массы рек с подобными названиями (единичные исключения типа *Москва* не в счет).

Что означают все эти слова? И на каком языке? Вы уже, конечно, догадались, куда я клоню. *Ва* по-коми — вода, река. А основы слов? Вот некоторые значения (по данным пермского лингвиста А. С. Кривошековой-Гантман): *лыс* — хвоя (*Лысьва* — хвойная река), *сыл* — талый (*Сылва* — талая река), *кось* — мелкое место в реке, порог (*Косьва* — мелкая, порожистая река), *виль* — новый, свежий, *ньюж* — медленный, *язь* — кислый.

Значит, определив район распространения таких названий (их ареал), можно сказать, где жили коми: названия рек очень устойчивы и сохраняются веками. А эта территория нам уже известна — Предуралье и западная часть Зауралья.

Ну как, теперь верите, что пельмени — уральское кушанье?

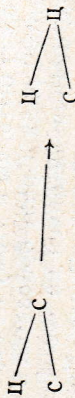
Впрочем, нам пора вернуться к нашей Ане с ее полученной *станцией*.

Теперь уже ясно, почему она написала *с* вместо *ц*. Для нее *ц* и *с* сливались в одном звуке *с*:





Ошибки такого рода в речи принято называть диалектными ошибками. Учительница начала бороться с этой распространенной в устной речи и на письме диалектной ошибкой. И довольно успешно. Аня поняла, что вместо *с* нужно писать *ц*. Но ведь она не знает, где в литературном языке пишут *с*, а где *ц*! Для нее это один звук! *С* и *ц* в ее сознании не противопоставлены (вспомните наш разговор о системе!). Поэтому у нее складывается такая простая схема: вместо *с—ц*, т. е.:



Изменилось лишь написание: *ц* — вместо *с* (*цтанция* вместо *стансия*). Неразличение *с* и *ц* осталось. Очень живучая вещь народные говоры!

Как-то во время диалектологической экспедиции нам посоветовали зайти к одному старику:

— Обязательно зайдите к нему — интересный старик, много много знает. Он у нас проходимец!

Мы переглянулись, однако зашли к деду, который оказался очень приветливым, разговорчивым и действительно интересным человеком. Долго рассказывал он нам об Австрии и Германии, где был военнопленным во время первой мировой войны, о других местах, где ему довелось побывать.

Перед уходом мы решились задать последний вопрос: — Дедушка, а что такое проходимец?

— А вот я и есть проходимец! — Заметив на наших лицах удивление, дед сам удивился нашему неведению и добавил: — А вот кто побывал во многих местах да много знает, того у нас проходимцем зовут.

Загадка разъяснилась: мы и старик понимали это слово совсем по-разному. Ведь в литературном языке *проходимцем* называют человека, способного на нечестные поступки, отъявленного мошенника, негодая. Слово имеет всегда неодобрительный, даже бранный оттенок.

А в этом говоре, как видите, такая характеристика, напротив, очень почетна для человека, так как то же слово имеет совсем другой смысл, хотя образовано здесь от того же корня и имеет ту же приставку и тот же суффикс, что и в литературном языке.

Почему так получилось?

А потому, что, несмотря на все свои разновидности, русский язык един, имеет единый в своих основных чертах звуковой состав, грамматику, словарь. Да иначе и быть не может! Ведь если бы варианты русского языка стали очень отличаться друг от друга, они перестали бы быть «вариантами» и стали бы просто разными языками, а люди, говорящие на этих языках, перестали бы понимать друг друга.

Слово *проходимец* образовано от слова *проходить*. И обозначает человека, который где-то проходил (или проходит, или может пройти). Но само-то слово *пройти* имеет ряд оттенков. И все дело в том, какой из них имеется в виду при образовании слова *проходимец*. В литературном языке — обозначающий пройдоху, который везде пройдет, пролезет. В говорах же — первоначальный оттенок значения.

Как видите, усвоить нормы литературного языка тому, кто с детства говорит на диалекте, нелегко. Поэтому диалекты живут, несмотря на существование радио, газет, кино, телевидения. Говоры — это особая, развивающаяся по своим законам разновидность современного русского языка.

Итак, строго нормированный, обработанный мастерами слова литературный язык — и живая, неорганизованная стихия просторечия; дошедший до наших дней результат раздробленности далеких феодальных времен — территориальные диалекты — и бурно развивающиеся в век научно-технической революции профессиональные «языки» — вот какая, оказывается, сложная вещь наш язык. Сколько в нем разновидностей, вариантов, сколько в нем «язычков»! Не удивительно, что так не просто познать все закономерности, все тонкости, все сложности в устройстве этого языка! Не удивительно также, что нужно немало усилий, чтобы в совершенстве овладеть его литературными нормами.



Несколько вполне обычных историй, заставляющих задуматься над тем, виноват ли язык, когда на нем кто-то говорит плохо, иными словами, историй, содержащих мораль, как, впрочем, и полагается в заключении, даже если автор и называет его введением, полагая, что вся эта книжка — лишь введение в науку о языке

### (Третье теоретическое введение с выходом в практику)

Вот мы и описали кратко основные закономерности языка как системы знаков, основные процессы речевой деятельности, основные причины вариатности в языке. Как видите, картины языка, описанные в этой книге, кажутся удивительно непохожими друг на друга. Так что же это все-таки такое, наш язык? Система знаков (хотя бы и осложненная вариатностью, описанной в предыдущей главе)? Или деятельность?

Если вы внимательно читали эту книгу, то ответ на эти вопросы не будет для вас неожиданным: и то, и другое вместе. Да, язык — это система знаков, но неотрывная от речевой деятельности, а, напротив, реально существующая только в ней и потому имеющая ряд принципиальных закономерностей, которые могут быть выявлены только с учетом этого обстоятельства. Да, язык — это деятельность, но не хаотическая и беспредельно произвольная, а ограниченная и организуемая самой системой знаков и потому также имеющая ряд принципиальных закономерностей, которые могут быть выявлены только с учетом этого обстоятельства.

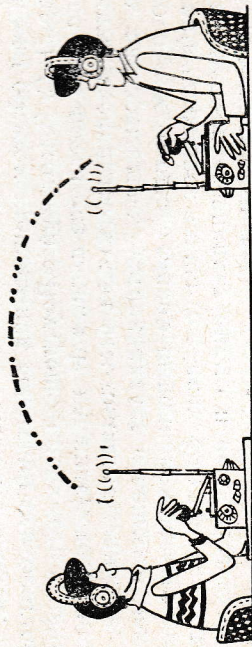
Язык — это сложнейшее устройство, которым управляют самые различные закономерности, поэтому обе рассмотренные в этой книге точки зрения на язык не исключают, а дополняют друг друга. Разделять их можно лишь для удобства исследования отдельных сторон языка (и то, как вы могли убедиться, лишь до известных пределов), но не тогда, когда речь идет о выявлении природы языка, самой сущности того, как он устроен.

Именно поэтому сосюровские четкие разделения внутреннего и внешнего, языка и речи, статики и дина-

мики, с одной стороны, имеют принципиально важное значение для изучения системной стороны языка, но с другой стороны, для представления о реальном бытии языка в речевой деятельности они оказываются неверными (вспомните наш разговор об идеализированных объектах). Поэтому одинаково не правы как те, кто считает, что имеет смысл только та лингвистика, которая развивается в русле идей Соссюра, так и те, кто вообще отрицает значение и смысл такой лингвистики.

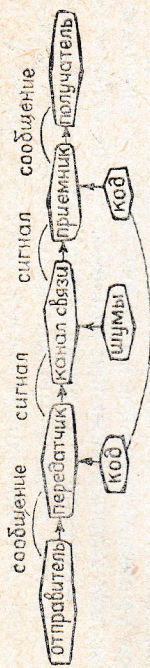
Ученые попытались построить и обобщенную модель речевой деятельности — такую модель, в которой в комплексе и во взаимосвязи учитывались бы и системность языка, и язык как деятельность. Такая модель построена на базе принятой в общей теории связи, в кибернетике схемы передачи информации.

В самом деле, отвлекаясь на минуту от живого языка. Как происходит передача сообщения, скажем, по радию?



Радиотелеграфист с помощью аппарата-передатчика передает сообщение в эфир, закодировав его специальным кодом — азбукой Морзе. В эфир поступает сигнал (электромагнитные колебания), который содержит сообщение в закодированном виде. Для того чтобы другой радиотелеграфист мог понять его, он должен иметь аппарат-приемник и знать код, т. е. ту же азбуку Морзе, с помощью которой сигнал можно декодировать, расшифровать. Но есть и еще одно немаловажное обстоятельство: разные помехи, или, как говорят специалисты, шумы, могут исказить сигнал, а иногда и совсем заглушить его, сделать непонятным сообщение. Вспомните игру в «испорченный телефон»!





Да, скажете вы, это все любопытно, но при чем же здесь язык? Ведь кодируется и декодируется уже готовое языковое сообщение!

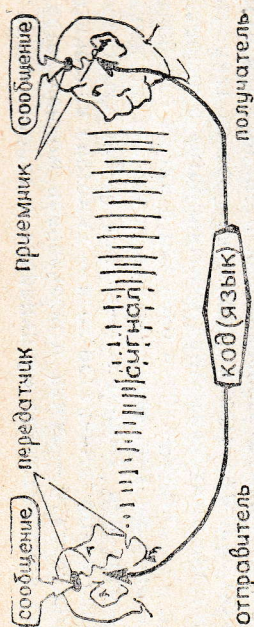
А как получено оно, само это «готовое» языковое сообщение?

Ведь мыслит каждый из нас индивидуально, своеобразно, в зависимости от образованности, ума, образа жизни и т. д. И мышление, хотя и складывается под влиянием родного языка, который активно помогает осознать внешний мир, не сводится только к языку.

Так называемая внутренняя речь, с помощью которой мы думаем, довольно значительно отличается от внешней речи, с помощью которой мы говорим и пишем. Вот как писал об этом крупнейший советский психолог профессор Л. С. Выготский: «Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов...» И далее: «Всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, течение, развертывание, устанавливает какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадает прямо и непосредственно с развертыванием речи...»

А что, если эту внутреннюю речь, неуловимую, непосредственную форму нашей мысли, и принять за сообщение? Тогда перевод внутренней речи во внешнюю можно сравнить с процессом кодирования, русский язык — с кодом, который знают все говорящие по-русски, органы речи — с передатчиком, а саму фразу внешней речи — с закодированным (по отношению к внутренней речи) сигналом, который говорящий посылает, чтобы передать свои мысли и чувства другим людям. Слушающий улавливает этот сигнал с помощью органов слуха (приемник), декодирует (с помощью того же кода — русского языка) — и вот уже нас поняли. Сообщение передано.

Кстати, один и тот же человек одновременно может быть и передающим и принимающим, когда речь его обращена к самому себе — это «мысли вслух».



А если считать внутреннюю речь индивидуальным кодом, то тогда перевод внутренней речи во внешнюю становится довольно сложным преобразованием из одного кода в другой при сохранении содержания сообщения (самой «мысли»).

Мы последовательно провели сравнение между передачей сигнала в эфир с помощью азбуки Морзе и передачей мыслей с помощью естественного языка. В стороне осталась лишь одна мелочь — шумы.

А мелочь ли?

Потери при передаче сообщения, кажется, неизбежны. Мы лишь приблизительно понимаем то, что нам хотели сказать. При этом колебания в соответствии ситуации, которую описывает говорящий, и ситуации, которую осознает слушающий, могут быть огромными: от почти полного понимания «с полуслова» (встречающегося, как правило, в разговорах людей, давно и хорошо знающих друг друга и на темы, хорошо им обоим известные) до почти полного непонимания (вспомните студента, носящего злополучное имя *Авас*). А ведь всякая потеря информации и есть «шум». Так неожиданно по-новому начинает восприниматься известный афоризм Ф. И. Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь...» Но задача людей, общающихся между собой, — свести потери информации к минимуму. А это совсем не просто! Поэтому искусство слова — один из самых сложных видов искусства.

Ну что ж, сравнение схемы речевой деятельности с общей схемой передачи информации в теории связи действительно оказывается интересным и плодотворным.

Однако это сравнение так же хромает, как и всякое другое. Человек — это все-таки не машина! И любая другая система знаков, любой другой код — это все-таки не человеческий язык! Не случайно в науке о знаках, семио-



тике, часто говорят о «первичной» семиотической системе — естественном человеческом языке — и «вторичных» семиотических системах — всех остальных, более специализированных, порой даже более точных, чем естественный язык, но все же всегда возникающих на базе этого естественного языка и без него невозможных.

Аналогия с «вторичными» семиотическими системами не позволяет во всей сложности учесть важнейшую особенность естественного человеческого языка — его связь с человеческим мышлением. Наш язык — непосредственное орудие мыслительной деятельности. И это определяет его своеобразие по сравнению с любым «техническим» кодом. Вот почему особенности процессов кодирования и декодирования в нашей речевой деятельности не могут быть выяснены до конца в данной модели. А ведь эти особенности определяют во многом и особенности самого «кода» — нашего языка!

Сравнение схемы речевой деятельности с общей схемой передачи информации в теории связи не может выявить и специфики именно человеческого общения с помощью языка. Ведь и само это общение — не просто техническая передача информации, а активная деятельность, направленная на то, чтобы воздействовать на окружающих в определенных целях.

Вот почему требует дальнейшего всестороннего исследования связь языка с мышлением, иначе многое в устройстве самого языка не может быть понято. Вот почему требует дальнейшего всестороннего изучения и специфика человеческого общения, иначе многое останется неясным в закономерностях речевой деятельности.

Вот почему на то, что язык является орудием человеческого мышления и средством общения людей, как на важнейшие, определяющие свойства языка указывали К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.

И язык, это могучее орудие мышления и важнейшее средство общения людей, столетиями шлифованный в бесконечном числе актов речевой деятельности, стихийно приспособляется к наилучшему выполнению своих задач. Однако в процессах речевой деятельности всегда остается противоречие между стремлением к экономии выражения и желанием точно, надежно передать мысль. И у говорящего всегда существуют «муки слова» — уж очень разнообразны и тонки нюансы мыслей каждого че-

ловека, и очень груб (только в этом смысле, разумеется!) любой язык.

Мы незаметно подошли к одной из важнейших проблем речевого общения в современном обществе — к проблеме культуры речи, к проблеме наиболее эффективного использования языка в целях общения.

Для того чтобы овладеть в достаточной мере культурой речи, нужно хорошо знать (и не просто знать, а довести до автоматизма эти знания) все тонкости, нюансы языка и правила построения и осознания наименований. А это достигается большой работой над собой: внимательным чтением классической художественной литературы, занятиями по русскому языку в школе, постоянным контролем за собственной речью и речью окружающих.

Особенно низка еще у нас культура письменной речи. Это и понятно: навыки письменной речи у человека обычно гораздо слабее развиты, чем навыки речи устной. Овладеть же культурой письменной речи очень важно: ведь письменная речь может быть более точной, более богатой по сравнению с устной, мы можем ее редактировать. Устная речь мимолетна. Письменная же долговечнее, она может передаваться во времени и пространстве. Но как раз поэтому овладение ее нормами труднее: она обращена не к непосредственному собеседнику, который, не поняв, мог бы переспросить, что-то уловить из обстановки, догадаться о чем-то по мимике и жестам говорящего. Отсюда — необходимость большей точности письменной речи и, следовательно, большая трудность оформления мысли.

Любопытные образцы речевых ляпсусов каждый из вас читал в разделе «Нарочно не придумаешь» журнала «Крокодил». Эти ляпсусы как раз и показывают неумение некоторых людей перекодировать внутреннюю речь во внешнюю, плохое знание языка, отсутствие контроля над своей речью.

Рассмотрим несколько примеров и попытаемся выяснить, где и как «шум» (если все же воспользоваться терминологией схемы из теории связи), возникший при кодовом переходе от внутренней речи к внешней, «утаил» часть сообщения. И если мы понимаем, что хотел сказать автор того или иного высказывания, то это прояснит ходит вопреки нашему верному другу языку (который здесь, конечно же, не виноват!), ибо весь наш жизнен-



ный опыт («здравый смысл») опрокидывает утверждение, содержащееся в этих нелепых фразах.

«Все козы праздношатающиеся будут задерживаться комендантом завода и направляться в отделение милиции на предмет взыскания штрафа». Это козы-то будут направляться на предмет взыскания штрафа?!.. А все оттого, что во внешней речи нет указания на хозяев коз. Автору этого объявления ясно, конечно, что штрафовать будут не коз, из фразы же следует совсем иное.

А вот еще ляпсус такого же типа: «Поссорились мы из-за козы, несмотря на обещания соседки, что больше бодаться не будет».

Как осторожно нужно создавать фразы, где речь идет и о человеке, и о его животном! Впрочем, не менее «коварно» и имущество, принадлежащее человеку: «Электрификацию гражданин Петровой мы не произвели по той причине, что около нее нет столбов».

Иногда «пропажа» буквально одного слова рушит всю фразу, потому что рядом оказываются слова, которые моментально начинают взаимодействовать, хотя такое их взаимодействие явно не входило в планы автора: «Комсомольцу Гаврилову Петру Гавриловичу, в рабочее время лежавшему под своим станком в сопровождающем сквернословия и прочих ругательствах нетактичного характера, объявляю выговор без премиальных». Как будто есть выговор с премиальными! Нужно было бы сказать: «...и лишаю премиальных» (о других перлах я уже не говорю!).

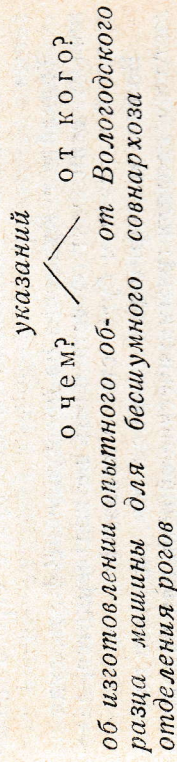
А вот надпись на фотографии: «На память родным. Посередине я, а слева подруга жены. Справа от меня жена, в белом платье. Хотя плохая, но потом вышло лучше, а пока посылаю эту». Не сразу догадаешься, что эпиграф *плохая и лучше* относятся не к жене, а к фотокарточке!

«Мною, механиком гаража Поповым, взята оконная рама от милиции, которая была задержана на месте происшествия». Коварное словечко *которая*! Надо уметь быстро и точно предусмотреть, к какому слову оно может быть отнесено тем, кто будет читать. Иначе будет непонятно и смешно.

Когда-то был опубликован и такой отрывок из официального письма. Здесь все слова на месте, но тем не менее...

«Начальнику СКБ Бийского завода тов. Светлову. Завод «Мясомолмаш» никаких указаний об изготовлении опытного образца машины для бесшумного отделения рогов от Вологодского совнархоза не имеет. Нет таких машин в плане новой техники».

Схема фразы такая:



Как видите, слова *отделение рогов от Вологодского совнархоза* оказались рядом совершенно случайно, но сыграли с автором письма злую шутку. Попробуй докажи, что это — не целое сочетание вроде *отделение сливок от молока*.

Во фразе «Брюки на задержанном были явно с чужого плеча» фразеологическое сочетание с *чужого плеча* оказалось разрушенным из-за наличия рядом с ним слова *брюки*. Образовавшаяся ассоциативная связь названий части тела и одежды, покрывающей часть тела, заставляет нас вспомнить буквальное значение выражения с *чужого плеча*, а в результате — смешная нелепость (брюки с чьего-то плеча).

А во фразе «Он освоился с новой профессией и стал на самостоятельные ноги» фразеологизм разрушается уже по другой причине: ведь устойчивое сочетание устойчиво не только по содержанию, но и по форме. Поэтому включившееся в это сочетание слово *самостоятельные* разрушает не только форму, но и переносное значение сочетания. Прямое же значение, на осознание которого «толкает» читателя автор, делает всю фразу совершенно нелепой.

«Лотошницу Афонну А. М., сидевшую на газированной воде, с 1.5.61 г. пересадить на мороженое». Как нелепо ворвалось бытовое выражение в официальный приказ! И сразу слово *сидеть* стало восприниматься буквально. Как видите, нужно учитывать и уместность того или иного словоупотребления.



А вот «дежурные» слова, формулы-штампы, бездумное, пустое употребление которых приводит к нелепым фразам вроде: «Мы обязаны наши недостатки сделать нашими достижениями».

О, эта сила инерции фраз без мысли!

«Факт обшета не подтвердился. Работники магазина в зав. магазина т. Кувыров предупреждены о том, что при повторении подобных случаев будут строго наказаны».

Толкайте т. Кувырова на преступление! Ведь, судя по письму, если факт обшета опять не подтвердится, ведущий магазин будет строго наказан!

Во всех этих примерах дело не в том, что люди не знали слова, сделали грамматические ошибки или нарушили логику самой мысли. Просто писавшие были небрежны, переводя мысль во внешнюю речь: пропустили слова, или, не желая того, столкнули слова, что создало неожиданный для автора смысл, или употребили хотя и удобные и привычные, но в данном случае нелепые сочетания.

Вот какая серьезная штука наша речь. Вот как важно думать и о том, что пишешь, и о том, как пишешь. Иначе люди и не поймут, что ты хотел сказать.

До сих пор мы говорили о взрослых людях. Кто-то из них мало учился, кто-то учился давно... А как дела у тех, кто окончил школу только что? Заглянем-ка в ученические сочинения, правда, не сегодняшних школьников, а вчерашних, уже окончивших школу и поступавших в вуз.

«Пушкин — это вершина, на которую трудно взобраться». Переносное значение слова *вершина* автор сталкивает с сочетанием *трудно взобраться* — и вся образная структура фразы разрушена. Опять неумение выразить словами простые вещи!

«Обитатели «дна» мечтали о хорошей жизни, о любви, о труде, но до хорошей жизни никто из них не дожил, так как они мечтали, а конкретных мер по улучшению жизненных условий никто из них не предпринимал». Штамл, который выглядит особенно нелепо, будучи применным для характеристики героев пьесы Горького, живших в начале века!

Два примера, однотипных по характеру ошибок:

«Лев Толстой создал роман-эпопею «Война и мир», хотя сам глубоко заблуждался во взглядах на жизнь».

«Так, Тургенев создал образ молодежи в романе «Отцы и дети», но сам был их врагом».

Вот как трудно выразить нюансы мысли! Здесь все очень грубо: да — нет, черное — белое. Никаких оттенков! Заблуждались — и basta! И как это Толстому удалось при всем том написать роман-эпопею?

Во втором примере отменим еще и специфическую просторечную ошибку: слово *молодежь*, которое обозначает множество людей, а по форме употребляется в единственном числе, в просторечии сочетается не с единственным числом глагола (как в литературном языке), а с множественным.

Вот разрушение общепринятого сочетания слов:

«В мучениях творчества рождается новая симфония». Принято говорить в *муках творчества* (вспомните разговор о нормах литературного языка!).

Как переключаются приведенные отрывки с фразами из раздела «Нарочно не придумаешь»!

Видите? Мало знать язык с детства, мало выучить школьную грамматику. Нужно много и упорно работать, изводить «единого слова ради тысячи тонн словесной руды», чтобы ваш язык превратился в могучее орудие самовыражения, чтобы все оттенки вашей мысли, все порывы ваших чувств становились бы точно и убедительно сформулированными для окружающих.



Вот и подходят к концу беседы о том, как устроен наш язык.

Мне хотелось показать вам, что языкознание — очень интересная и увлекательная наука, притом наука очень важная, имеющая большое практическое значение.

Познавая язык, мы познаем себя, точнее отдаем себе отчет в том, каким мы видим окружающий мир, как мы мыслим. Поэтому языкознание во многом философская наука.

В этой книжке я говорил о самых простых и ясных словах, грамматических категориях, т. е. о самых очевидных вещах, потому что в простых примерах все предельно ясно. Все ясно — и вот поди ж ты! Сколько, оказывается, неизведанного скрывается за ясным и очевидным!

И когда я знакомил вас с фундаментальными понятиями современной лингвистики — знаковым, системностью, ситуацией, актуальным членением, показывая и их плодотворность для языкознания, и трудности в исследовании их, когда я демонстрировал вам некоторые закономерности образования и осознания наименований, когда я рассказывал вам о вариантности языка и трудностях в овладении его нормами, — я хотел показать те проблемы, которые стоят сегодня перед современной наукой о языке и которые порой еще ох как далеки от окончательного решения!

Я стремился убедить вас в том, что при кажущемся академизме эти вопросы тесно связаны с практикой, причем практикой, интересной не только для узких специалистов (редакторов, учителей, переводчиков, специалистов по семиотике), но и для миллионов людей, идущих к вершинам человеческой культуры, овладевающих знаниями, живущих в обществе со все более усложняющимися связями.

Поэтому задача сделать свою речь точной, ясной и в то же время яркой и убедительной, научиться эффективно использовать язык в целях общения — это задача общекультурная. Культура речи нужна всем!

Слово — полководец человеческой силы. Но не всякое слово, а лишь такое, за которым скрывается могучая мысль и которое наиболее точно и ярко выражает эту мысль для окружающих. Замечательный пример тому — ленинское слово.

Цените слово! Оберегайте слово! Работайте над словом!

Вот и все, что уместилось в этой книжке.

Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы эти странички были не концом вашего знакомства с языкознанием, а лишь началом. И если эта книга не показала вам скучной, если вы заинтересовались удивительным и невиданным орудием — нашим языком, если вы захотели узнать о нем что-нибудь еще, — тогда я выполнил свою скромную задачу и со спокойной душой могу отправить вас в библиотеку за другими книгами по лингвистике, которые (разумеется, очень условно) я разделил по степени возрастания сложности на несколько групп. Вы найдете названия этих книг на следующей странице.

Конечно, перечисленные там книги — капля в море литературы по языкознанию. Много — и притом очень интересное и важное — не попало в этот список. Но и эта капля поможет вам почувствовать увлекательность путешествий в мир слова, такого простого и очевидного и в то же время такого загадочного, еще не до конца познанного. Удивительное — рядом. Оно ждет вас.



1. Совсем простые

- Б. Казанский. В мире слов. Л., Лениздат, 1958.  
 А. Кондратов. Звуки и знаки. М., «Знание», 1966.  
 А. А. Леонтьев. Что такое язык. М., «Педагогика», 1976.  
 Л. Успенский. Слово о словах (несколько изданий).  
 Л. Успенский. Ты и твоё имя (несколько изданий).  
 Ф. Фолсом. Книга о языке. М., «Прогресс», 1974.

2. Несколько более сложные, но вполне доступные  
 Б. В. Колесов. История русского языка в рассказах. М.,  
 «Просвещение», 1976.

3. Н. Н. Люстрова, Л. И. Скворцов. Мир родной речи (бесе-  
 ды о русском языке и культуре речи). М., «Знание»,  
 1972.

- В. В. Одинцов. Лингвистические парадоксы. М., «Просве-  
 щение», 1976.

- Ю. В. Откупщиков. К истокам слова. Рассказы о науке  
 этимологии (несколько изданий).

- К. И. Чуковский. Живой как жизнь (несколько изданий).  
 К. И. Чуковский. От двух до пяти (несколько изданий).  
 Н. М. Шанский. В мире слов. М., «Просвещение», 1971.

3. Еще более сложные, но тем не менее успешно по-  
 стигаемые первокурсниками

- Б. Н. Головин. Введение в языкознание (несколько из-  
 даний).

- Р. А. Будагов. Введение в науку о языке (несколько из-  
 даний).

4. Совсем серьезные, хотя и популярные

- Л. Н. Булатова, П. Л. Касаткин, Т. Ю. Строганова. О рус-  
 ских народных говорах. М., «Просвещение», 1975.

- Э. Добльхофер. Знаки и чудеса. Рассказ о том, как были  
 дешифрованы забытые письмена и языки. М., Изд-во  
 восточной литературы, 1963.

- В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в  
 очерках и извлечениях (несколько изданий).

- А. А. Леонтьев. Возникновение и первоначальное разви-  
 тие языка. М., Изд-во АН СССР, 1963.

- Ю. С. Степанов. Семиотика. М., «Наука», 1971.

Указатель основных понятий, о которых шла речь в этой  
 книге (цифры указывают страницы, на которых говорит-  
 ся об этих понятиях)

Актуальное членение 101, 104	Лексический уровень 36—43
Антонимия 115—118, 132	Логическое ударение 100
Ареал 139, 141	Метафора 113
Асимметрия структуры языко- вого знака 54—59	Многосложность 54—57, 79—80
Ассоциация; ассоциативный эк- сперимент 71—74, 84, 118, 126—127, 129, 130	Момент речи 89—94, 96, 97
Вариантность языка 134—143	Надежность в речевой деятель- ности 108—111, 114, 134, 148
Вероятностное прогнозирование 129—132, 134	Наименование ситуации 83—88, 104—134
Видовое наименование 105	Нейтрализация 32, 37
Внешние элементы языка 8, 144	Норма в литературном языке 136—137, 143, 149
Внутренние элементы языка 8, 144	Нулевое окончание 52—53
Внутренняя речь 146—147, 149	Омонимия 57—58, 79—80, 112
Говоры 139	Осознание наименования 123— 134, 149
Говорящий 87—88, 93—94, 108, 122—123, 130, 148	Переносное значение слова 56, 87—88
Грамматика знаковой системы 15—17	«Периферия» речевой деятель- ности 75—80, 84, 89, 95, 97, 98
Грамматический уровень 43— 53, 89—97	План выражения знака 14—15, 29, 53—54, 59
Декодирование 145—146	План содержания знака 14—15, 29, 53—54, 59
Динамика языка 10, 71, 97, 144—145	Построение наименования 104— 134, 149
Дифференциальные признаки 24—28, 30—39, 42—45, 49, 51, 60—62, 77—78, 85, 89—91, 97, 105—107, III, 114, 121	Произвольность языкового зна- ка 17—18
Дифференцирующая (уточняю- щая) часть наименования 105	Просторечие 136
Знак. Общие замечания 12—22, 83, 144	Профессиональные «языки» 136—137
Знак в системе 24—28, 38, 42— 45, 49, 53—56, 59—63	Развертывание наименования 107—112, 114, 123
Идеализированный объект 66— 70, 86	Рема 101—104, 111—113, 116, 130
Имя собственное как знак 45— 46	Речевая деятельность 9, 65, 68—69, 71—80, 104—134, 144—145, 148—149
Интегральные признаки 25—26, 35, 77, 85	Родовое наименование; родовая часть наименования 105, 111, 121
Каламбур; каламбурная рифма 57—58	Свертывание наименования 108—113, 123
Код 145—146	Семиотика, или семиотика 15, 147—148
Кодирование 145—146	Синонимия 54, 58—62, 115—123
Культура речи 149	



Система; системность языка.	
Общие замечания	22, 28, 56—57, 59—63, 74—76, 81, 86—87, 89—90, 97
Системность на разных уровнях	29, 31, 36—42, 44—45, 49—53, 91
Ситуация	80—88, 97—134
Слушающий	88, 108, 123—134
Сравнение	113
Статика языка	10, 64, 70—71, 97, 144
Творческий характер языка	87, 123
Тема	101—104, 111—112, 116, 130
Территориальные диалекты	139
«Уровни», или «ярусы», языка	29
Устойчивость языкового знака	18
Фонема	29—31, 35

Фонемный уровень	29—31
Ценность языкового знака	26—27
«Центр» речевой деятельности	74—80, 84—85, 89, 94, 97, 98, 118, 122
Экономика в речевой деятельности	108—111, 114, 134, 148
Эффект обманутого ожидания	132—133
Язык (язык и речь)	9—10, 59, 74—75, 89, 144
Язык как общественное явление	9, 65, 73—74, 86, 134
Язык как орудие мышления	5, 71—74, 86, 146—149
Язык как система знаков особого рода	11—12, 53—54, 59—63, 64, 144, 147—148
Язык как средство общения	5, 64, 88, 148—149

Первое обращение к читателю	3
Часть первая. Язык как система знаков	

Глава 1. Необычная история, происшедшая с книгой Фердинанде де Соссюра, опубликованной после его смерти и к тому же написанной совсем не им, но тем не менее благодаря которой Соссюр произвел настоящую бурю в языковедении, не утихающую и по сей день (Первое теоретическое введение)	7
Глава 2. Светофор, мажор, слово. Что у них общего? (Начальное знакомство со знаком)	12
Глава 3. А что, если у стула отломать спинку? (Начальное знакомство с системностью)	22
Глава 4. У бедя дасборг! (Системность на фонемном уровне)	29
Глава 5. Две матери, две дочери да бабушка с внучкой, а всего трое (Системность на лексическом уровне)	36
Глава 6. Сколько я в им? (Системность на грамматическом уровне)	43
Глава 7. — Она красная? — Нет, она черная. — Почему же она белая? — Потому что зеленая (Многозначность, омонимия, синонимия — и системность языка)	53

## Часть вторая. Язык как деятельность

Глава 8. Еще одна необычная история, на этот раз о том, как с легкой руки Евклида люди уже более двух тысяч лет изучают то, чего нет, и в то же самое время это изучение помогает им понять, как устроено то, что есть (Второе теоретическое введение)	64
Глава 9. Есть ли на лице что-нибудь, кроме носа? («Центр» и «периферия» в речевой деятельности)	71
Глава 10. Как колпак лампы стал арбузиком (Начальное знакомство с ситуацией)	80
Глава 11. Сколько времени в настоящем времени? (Речевая деятельность и системность языка)	89
Глава 12. Жил-был поп, толокенный лоб (Начальное знакомство с актуальным членением)	97
Глава 13. Дом, который построил Джек (Развертывание и свертывание при построении наименования)	104
Глава 14. Мой верный друг! мой враг коварный! (Синонимия и антонимия в речевой деятельности)	114



Глава 15. Зачем это хта обязательно та, а жерка, как правило, эта? (Осознание наименования) . . . . .	123
Глава 16. «В пальте» — это по-русски? («Языки» в языке. Необходимое дополнение, которое могло бы стать третьей частью) : : : : : . . . . .	134
Глава 17. Сколько вполне обычных историй, заставляющих задуматься над тем, виноват ли язык, когда на нем кто-то говорит плохо, иными словами, историй, содержащих мораль, как, впрочем, и полагается в заключении, даже если автор и называет его введением, полагая, что вся эта книжка — лишь введение в науку о языке (Третье теоретическое введение с выходом в практику) . . . . .	144
Второе обращение к читателю . . . . .	15*
Книги о языке : : : : : . . . . .	156
Указатель основных понятий, о которых шла речь в этой книге	157

ИБ № 1800

*Леонид Волькович Сахарный*  
КАК УСТРОЕН НАШ ЯЗЫК

Редактор А. П. Грачев  
Художественный редактор К. К. Федорова  
Технический редактор Е. Ф. Поддуркина  
Корректор М. И. Миримская

Сдано в набор 16.6.1977 г. Подписано к печати 31.1.1978 г. А00827 64X108/32. Бумага тип. № 1 Литер. гарн. Высокая печ. Условн. л. 8,40 Уч.-изд. л. 8,21 Тираж 100 тыс. экз. Заказ 1048

Орлена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Типография № 2 Росглавополиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Цена 20 к.



20 к.

